



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ



Комитет
гражданских
инициатив



Бизнес и Мысль

Фонд «Либеральная Миссия»

Серия
«Свобода и право»

Основана в 2012 г.

Алексей Давыдов

НЕПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В РОССИИ

СТАНДАРТЫ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДИЯ
Международные и национальные практики
Под ред. Т. Г. Морщаковой

ВЕРХОВЕНСТВО И ПРАВО КАК ФАКТОР ЭКОНОМИКИ
(Международная коллективная монография)
Под ред. А. Г. Федотова, Е. В. Новиковой,
А.Р. Розенцвайга, М. А. Субботина

Виктор Шейнис

ВЛАСТЬ И ЗАКОН

Политика и конституции в России в XX—XXI веках

Владимир Малахов

ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ

Концепции и практики

Александр Оболонский

ЭТИКА ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ

И РЕАЛИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Леонид Никитинский

АПОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

(в завтрашний номер: о правде и лжи)

Эмиль Паин, Сергей Федюнин

НАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЯ

Перспективы управления культурным разнообразием

Леонид НИКИТИНСКИЙ

АПОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

(в завтрашний номер: о правде и лжи)



•МЫСЛЬ•
Москва

УДК 070
ББК 76.0
Н62

Комитет гражданских инициатив



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ



Бизнес и Мысль

Книга издана при поддержке
«Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив»

Никитинский, Л.В.

Н62 Апология журналистики (в завтрашний номер: о правде и лжи) / Леонид Никитинский. — Москва : Мысль, 2017. — 239 с.

ISBN 978-5-244-01196-8

Леонид Никитинский — известный российский журналист, лауреат премии «Золотое перо России» и других престижных профессиональных премий — защищает свою профессию от той настроенности, а порой и резкого неприятия, которые характерны сегодня для общественного мнения, и не только в России. Споря как с практиками и чиновниками, так и с современными исследователями этой сферы, автор разграничивает журналистику и медиа («СМИ»), показывая, что большую часть их «контента» образует не журналистика, а пропаганда и развлечения, которые суть на самом деле ее антагонисты.

Современная медиасфера, рассматриваемая автором как сфера обращения смыслов, или ноосфера, характеризуется разнонаправленными тенденциями. Шире используются и манипулятивные возможности пропаганды, а желтый контент подавляет журналистику благодаря распространенному взгляду на медиа исключительно как на бизнес. Но наряду с этим повышается и ценность настоящей и точной журналистики, которую автор определяет в конечном счете как борьбу против ухода от действительности в сферу развлечений и одновременно против симулякров пропаганды.

Приводя многочисленные примеры как из собственного опыта, так и из практики коллег, а также используя понятийный аппарат современной философии (Маклюэн, Фуко, Арндт, Бодрийяр и др.), автор рассматривает отношения журналистики как коммуникативный разум (Юрген Хабермас) — процесс достижения обществом согласия по наиболее значимым для него вопросам, а саму журналистику — как его необходимый и важнейший инструмент. С этой точки зрения самую большую озабоченность автора вызывают замкнутые смысловые контуры (страна «Фейсбук» и страна «ВКонтакте»), и он ищет пути возобновления коммуникации между ними. Автор заканчивает книгу размышлениями об ответственности журналиста, чью роль в истории он определяет как роль первоисторика.

Рукопись книги уже вызвала интерес не только журналистов, но и социологов и политологов, описывающих современное российское общество со своих позиций. Книга, безусловно, будет полезна для молодых сотрудников медиа и студентов соответствующих вузов как детальное исследование и утверждение журналистской профессии.

УДК 070

ББК 76.0

ISBN 978-5-244-01196-8

© Комитет гражданских инициатив, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	11
ТЕТРАДЬ I. Журнализм	15
Глава 1 (вводная). Больше чем журналистика	15
Глава 2. Гиперреальность и журнализм	24
Глава 3. Феномен честности и «героический тип»	31
Глава 4. «Власть» и легитимность журналиста	42
Глава 5. Авторское «я» и проблема ангажированности	54
ТЕТРАДЬ II. Отношения журналистики	61
Глава 6. Импульс высказывания, журналистское высказывание	61
Глава 7. Жизнь высказываний: коммуникация и дискурс	71
Глава 8. Высказывание в роли события	78
Глава 9. Суждение и публицистика. Точка «ноль»	84
ТЕТРАДЬ III. Карты журналистики (дискурсивные практики)	93
Глава 10. По ту сторону журналистики: информационная война	93
Глава 11. Замкнутые дискурсивные контуры	104
Глава 12. Коммуникативный разум	114
Глава 13. Закон убывания смысла высказываний	126
Глава 14. «Произведение». Очерк и расследование (журналистика конфликта)	135
ТЕТРАДЬ IV. Карты медиа и «контент»	145
Глава 15. Образование медиа: топос	145
Глава 16. Карты журналистики. Экспансия желтых ...	153
Глава 17. «Двойная сплошная»	168
Глава 18. Унавоживание «контента»	178

Глава 19. Матрица «СМИ» и возникновение видов ...	188
Глава 20. Коллегия и «коллеги»	202
ТЕТРАДЬ V (неоконченная).	
Историческая роль и ответственность журналиста ..	213
Глава 21. Журналист как историк	213
ПОСЛЕСЛОВИЕ	225
СВЕТЛАНА Шайхитдинова	
Журнализм и журналистика	
Леонида Никитинского	231

СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ «КОНСПЕКТОВ»

Тетрадь I. Журнализм	15
Глава 1. Больше чем журналистика	15
Введение и общие понятия. Действительность: рамка подлинности и актуальности. «Сейчас» как История. Командировка: угол зрения и образ жизни. Журналистика как форма реализации свободы.	
Глава 2. Гиперреальность и журнализм	24
Пропаганда: первая древнейшая. Смысловое пространство. Симулякры и онтологический ряд. Факты, которым нельзя придать значение, отличное от их собственного. Журнализм как ядро журналистики. Критичность высказываний. «Разоблачение» и демифологизация массового сознания.	
Глава 3. Феномен честности и «героический тип»	31
Тип личности «журналист». История Саши К. из Магнитогорска. Мотивация журнализма и сложная дробь. Феномен честности: нонконформизм и «героический тип».	
Глава 4. «Власть» и легитимность журналиста	42
Порочность метафоры четвертой власти. Легитимация журналиста «через верх» и в системе выборной демократии. Право задать вопрос. Самолегитимность журналиста и паррезия Фуко. «Я» как доказательство в журналистике.	
Глава 5. Авторское «я» и проблема ангажированности	54
Собственная позиция и сознание ангажированности. Процедуры и стандарты. Парадокс правозащитника и проблема «заказухи».	
Тетрадь II. Отношения журналистики	61
Глава 6. Импульс высказывания, журналистское высказывание	61
Общее определение. Источники журналистских и родственных высказываний, «полуфабрикаты». Лавина высказываний: «пена» и «галька». Высказывания и сообщения (власти). Спонтанность как свойство высказывания.	
Глава 7. Жизнь высказываний: коммуникация и дискурс	71
Высказывание и «информация». Сцепления высказываний. «Публика» как вторая и необходимая часть журналистики.	

Отношения журналистики и ноосферы. Дискурс (проговаривание самого себя) и процесс формирования личности и нации.

Глава 8. Высказывание в роли события 78

Что такое «на самом деле»? Роль журналистики и пропаганды в генерации событий. Факт как новость и «сухой остаток». Медиасобытие. Ценностное окрашивание событий.

Глава 9. Суждение и публицистика. Точка «ноль» 84

Нравственность и опасность суждения. Ханна Аренд — журналист. «Мускулы культуры» Мераба Мамардашвили и роль медиа. Разделение чувства ответственности. Точка «ноль», суждение как бремя и «дурная публицистика».

ТЕТРАДЬ III. КАРТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

(ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ) 93

Глава 10. По ту сторону журналистики:

информационная война 93

Одна война — две реальности. Между «предательством родины» и изменой профессии. Нонкомбатант — продолжение принципа невмешательства. Линии фронта в ноосфере.

Глава 11. Замкнутые дискурсивные контуры 104

Обособление смысловых потоков в сетевом обществе. Фейки и мифологемы, фактчекинг. «Археология знания» (Фуко), рациональная и мифологическая дискурсивные практики. Страна «Фейсбук» и страна «ВКонтакте».

Глава 12. Коммуникативный разум 114

«Жаргон подлинности» (идеология) Теодора Адорно и коммуникативный разум Юргена Хабермаса как процесс достижения согласия. Этика и правила дискурса, попытки и пути его возобновления и примеры. Назад к «фактам».

Глава 13. Закон убывания смысла высказываний 126

«Глобальная деревня». Режим life как причина «остывания фактов». Отрыв комментариев от фактов и утрата подлинности. «Страна колумнистов», пустота суждения и значение молчания.

Глава 14. «Произведение». Очерк и расследование

(журналистика конфликта). 135

Центральный конфликт журналистики: человек и власть. Процесс создания произведения: тема, факты, детали и доказательства. Антропоцентризм журналистики. Болезнь «Большого города».

ТЕТРАДЬ IV. КАРТЫ МЕДИА И «КОНТЕНТ»	145
Глава 15. Образование медиа: топос	145
Свободное обращение высказываний и журналистика вне «СМИ». Платформы коммуникаций. Первичность журналистики по отношению к медиа. Горизонтальный характер коммуникации, миграции журналистов и отношений журналистики: возникновение и трансформации смысловых «островов» (топосов).	
Глава 16. Карты журналистики. Экспансия желтых	153
Социальное, политическое, журналистика и пропаганда. «Информация» в понимании респондентов анкет: Media & Entertainment. Инфотеймент: шум и сопутствующие товары. Журналист Чехов: «Кто-нибудь с молоточком».	
Глава 17. «Двойная сплошная»	168
Диалектика насилия и дискурса. Мартиролог медиа. Неопределенный характер запретительных мер и муравьиный разум бюрократии. «Правила игры».	
Глава 18. Унавоживание «контента»	178
Исследование контента региональных «СМИ». «Договоры об информационном обслуживании» как специфическая форма коррупции. Доклад президенту и последствия его для журналистского сообщества.	
Глава 19. Матрица «СМИ» и возникновение видов	188
Раскол общего корня на журналистику, таблоид и пропаганду. Соотношение между ними. «СМИ» как средство. Деструкция термина «СМИ». «Медиабизнес». Цена свободы слова.	
Глава 20. Коллегия и «коллеги»	202
Общественная коллегия по жалобам на прессу и стандарты профессии. Английский и российский опыт саморегулирования, основания легитимности. Состояние сообщества и борьба за звание «журналист».	
ТЕТРАДЬ V (НЕОКОНЧЕННАЯ). ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ	
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА	213
Глава 21. Журналист как историк и неполитик	213
Первоисторик. Принцип невмешательства и фактические последствия публикаций. «-Гейты». Невменение последствий по признаку не результата, но мотива (Иммануил Кант). Вес слова.	

Установить, что есть на самом деле, нам удастся, если мы построим для этого текст.

Мераб Мамардашвили

Геродот из Гиликарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в неизвестности, в особенности же то, почему они воевали друг с другом.

Геродот

ОТ АВТОРА

Пока я долго писал и переписывал эту книжку, Оксфордский словарь признал словом 2016 года (частота его употребления резко выросла после выхода Великобритании из ЕС и выборов президента США) «постправду» (*the Post-truth*). Я бы даже перевел это как *послеправдие* — такое историческое состояние, в котором правда оказалась как бы уже позади, а сегодня и дальше ее нет и не будет.

А вот последняя правка, которую я вношу в эту рукопись 28 марта 2017 года, перед тем как отправить ее в издательство, но она настолько важна, что пару абзацев необходимо добавить в начале книги, а не в конце. Позавчера, в воскресенье 26 марта, тысячи детей 14–18 лет вышли на улицы многих городов России на неразрешенные митинги. Официальные телеканалы обошли это событие молчанием, но журналисты, сохранившие уважение к профессии, вчера уже успели расспросить юных протестантов, что вывело их на улицы. Их ответы, непохожие друг на друга, сходились в одном: «Мы не хотим врать».

Мы не знаем, что будет дальше, но я говорю этим детям спасибо: вся эта книжка, которую я писал и переписывал в течение последних полутора лет, об этом — *о правде и лжи*. Правда в каком-то высшем смысле, может быть, нам и неведома, и на этом поле еще можно как-то поиграть словами, но ложь — простая штука, и всем понятно, что она есть и где она есть. Рассказывайте детям, что правды на самом деле больше не существует... Они ответят, у них время еще есть.

Журналистика как раз об этом, и нет, наверное, другой профессии, которую бы это так задевало. Станный спикер российской власти в области «СМИ» Алексей Волин вслед за Рупертом Мердоком не устает повторять, что журналистика как профессия умерла, а мы просто обслуживающий персонал медиаиндустрии. Это утверждение в действительности синоним Post-truth. Если правда осталась в прошлом, то там же вместе с нею сгнула и журналистика. Но это «если», и это можно обсуждать.

В этой книжке я попытаюсь доказать обратный тезис: *где нет журналистики, там не может быть и правды*. Без журналистики общество лишается главного инструмента, при помощи которого правду о себе самом (об обществе) для начала вообще можно вытащить из хаоса налезających друг на друга эмпирических (исторических) событий.

Мой взгляд не совпадает с основным трендом: исследователи сферы медиа озабочены сегодня прежде всего возможностью манипулировать с помощью «СМИ» общественным сознанием. Этому, в частности, посвящена наиболее фундаментальная из последних вышедших на русском языке книг — «Власть коммуникации» Мануэля Кастельса (р. 1942, Испания — США). Однако, замороженные этой угрозой (отнюдь не мнимой), большинство исследователей перестают различать внутри медиа журналистику, которую они к тому же не отличают от пропаганды. Кастельс забывает, о чем сам же и рассказывает нам в предисловии к своему труду: в 1960 году, еще первокурсником университета, он обходил кинотеатры Барселоны, оставляя в темноте на соседних сиденьях листовки с призывами к свержению капитализма...

Еще не читав Кастельса, я убеждал Людмилу Алексееву — легендарную машинистку Московской Хельсинкской группы, что их деятельность по сбору сведений о политических заключенных в СССР, нелегальному изданию и распространению в самиздате «Хроники текущих событий» (первый номер она напечатала в четырех копиях в 1968 году), по сути, была журналистикой. Людмила Михайловна, подумав, сказала, что, отправляясь в тюрьму или изгнание, они никогда не рассматривали себя с этой точки зрения, но все же согласилась, ведь не тираж и не способ распространения оказываются тут определяющими признаками.

Дело в мотивах *высказываний*, и это те самые человеческие мотивы, которые создают журналистику и воспроизводят ее часто даже *вопреки медиа*. Если бы Кастельс не был таким умным и не стал ученым, он, возможно, как и я, оказался бы журналистом и тогда понимал бы более отчетливо, что *журналистика и медиа далеко не одно и то же*.

А черновик этой книжки я заканчивал в августе 2016 года с видом на море. Утром я купался, потом весь день работал, а вечером мы с женой шли на набережную, чтобы купить на ужин чебурек — они были вкусней, чем в ресторане, не говоря уже о ценах. Там был такой киоск с жаровней, у которого всегда собиралась очередь, а внутри, весь в белом, колдовал Сурен. Чтобы не пачкать руки, он кивал покупателям на блюдце, которое берегло лежавшие под ним купюры от порывов ветра с моря, и тот, чья очередь подходила, сглатывая слюну, сам подсовывал свою сотенную, выгребая из блюдца сдачу. В каждом движении Сурена, склеивал ли он будущий чебурек или ловко выхватывал его щипцами из кипящего масла, и в том, как он вам улыбался и шутил, было нечто большее, чем просто сноровка, — *уважение к профессии*.

В том мире постмодерна, который я собираюсь описывать дальше, это, возможно, то последнее, за что мы можем уцепиться, как Рене Декарт в свое время смог уцепиться за своего Субъекта: раз я управляю своей мыслью хоть в какой-то мере, значит я есть, и все остальное, видимо, тоже не лишено какого-то смысла. А если можно уважать профессию, то в ней можно уважать себя, а там и остальных, если они тоже уважают свою. Это же так ясно, в отличие от всего прочего. О профессии и речь — только-то и всего.

ТЕТРАДЬ I. ЖУРНАЛИЗМ

ГЛАВА I (ВВОДНАЯ).

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЖУРНАЛИСТИКА

Когда мне было лет на шестьдесят меньше, чем теперь, я думал, что стану писателем. Не знаю, откуда я это взял, наверное, мне просто нравились буквы. А когда годам к тридцати стать писателем мне так и не удалось, но рука на буквы у меня оказалась уже набита, я начал дрейфовать из юридической науки, куда меня занесло скорее по наследственности, в журналистику. Тогда я думал, что литература и журналистика почти одно и то же, ведь там и тут материал — это буквы. Мне повезло стать писателем уже в более позднем возрасте, и благодаря этому опыту я хорошо понимаю разницу между журналистикой и литературой.

Литература создает (если это еще получится) и описывает вымышленный мир, хотя делает это по тем же правилам, как если бы он был настоящий. В журналистике, напротив, выдумке места нет, она по определению описывает мир действительного, non-fiction. В этом смысле к журналистике я отношу также документальное кино, дневники и мемуары — в той мере, в какой они обладают неподдельностью старых, пожелтевших фотографий.

Как журналист, я фанат и слуга действительности, какова бы она ни была, и враг искажения и ухода от действительности, чем бы это ни мотивировалось.

Действительность (время действия) образуется на пересечении *подлинности* и *современности* (актуальности). В другой книжке, гораздо более умной, чем эта, я вычитал, что понятие *modernité* (современность — *фр.*) появилось в середине XIX века, и вроде бы его придумал поэт Шарль Бодлер. До эпохи модерна уже было прилагательное «современный» (*moderne*), но «настоящее» человек Запада

понимал как исчезающее мгновение, что правильно «физически», но не позволяет разглядеть время действия: пока вы дочитывали эту фразу, оно уже миновало, и действительность куда-то исчезла, не оставив даже возможности ее отрефлексировать.

Так можно мыслить, когда время течет медленно, но в модерне оно ускоряется, а в постмодерне его движение и вовсе перестает быть линейным. Поэтому «современность» должна быть понята как растянутое «сейчас». «Сейчас» вобрало в себя состоявшееся прошлое — как основание того, что еще только может произойти в будущем. Многое из прошлого снова оказывается актуально, но многое в настоящем — «архаика», и попытки это актуализировать порождают только фейк.

Современно то, что привязано к «сейчас», когда еще не поздно что-то сделать. В этом пространстве и работает журналист: точка в дпящемся «сейчас» — главная для него, хотя в рамках высказывания она приобретает вид «вчера» или «только что».

Чем дальше текст (любое высказывание) уходит из рамки, образуемой границами подлинности и современности, тем менее он относится к журналистике, а сама она становится жиже, пока за какой-то чертой, не всегда различимой, не превращается в собственную противоположность.

Уход от действительности, или эскапизм, которому противостоит журналистика (и это ее важнейшая функция), возможен как по линии искажения фактов, так и по линии отказа от современности. Второе представляет собой сегодня самую большую угрозу для журналистики: «человек играющий» (к чему его подталкивают современные технические средства) выпадает в какое-то другое, внеисторическое, время, где настоящее перестает быть временем действия. Так же работает и феномен «внутренней эмиграции», который на самом деле тоже игра.

Журналистика же всегда старается вернуть человека в действительность, когда «нельзя спать» (так Мамардашвили цитирует Декарта), и это ее качество далеко не всегда и не всем нравится. Журналист — это не просто роль, это и бремя: бывает, что оставаться журналистом не хочется.

Программа «Анонимных Алкоголиков», например, говорит о «неумолимой честности» — необходимом условии, без которого эти несчастные не смогут бросить пить. Это странная штука — она ведь не запрещает дурные поступки и лживые высказывания, она не позволяет их только рационализировать, называя ложь как-то по-другому. Такова же и журналистика — она и собственному названию соответствует ровно настолько, насколько называет все вещи своими именами. Журналистика — это то, что вам не понравится. Это горькое лекарство, но обществу оно необходимо.

В второй половине XX и в начале XXI века появился целый ряд фундаментальных трудов, осмысляющих информационное (массовое) общество и медиа. Однако уважаемые профессора (Маршалл Маклюэн, Мануэль Кастельс и др.), точно ухватывая проблему искажения действительности в медиа, перестают различать внутри них *журналиста*. Некоторые из этих трудов я даже осилил и буду на них ссылаться. Но эта книжка отнюдь не научная, она субъективная и именно апологетическая. Мне просто захотелось самому разобраться, чем я занимался всю вторую половину своей жизни. Я стал читать книжки по философии, остался в ней дилетантом, зато понял, что все, что мне рассказывают об этом профессора, меня не устраивает. Перед этими уважаемыми учеными у меня есть только одно преимущество: я журналист и вижу проблему с этой стороны. Но как всякий (и всегда) журналист, я небеспристрастен: я предан своей профессии и буду ее защищать.

С другой стороны, это и попытка убедить себя, что все, чем я занимался последние тридцать лет, не было напрасным. Ну, несколько человек мне удалось вытащить из тюрьмы, а моими газетными заметками, наверное, можно оклеить под обои хорошую трехэтажную виллу, которой у меня нет. А что в итоге, в чем был смысл этой *командировки*?

Командировка — очень важная часть жизни журналиста, и она необязательно куда-то далеко. Можно оставаться в редакции, но и здесь рассматривать любую тему (историю) как бы глазами «иностранца», странника. Ты все время

пытаешься увидеть чужой край действительности и выпадаешь из своей собственной. Искушение вылезти из зала на сцену (как в рассказе старшего Драгунского «Сражение у чистой речки») возникает постоянно, но журналисту этого делать нельзя, это противоречит его роли наблюдателя, пусть и сочувствующего одной из сторон. Если ты разглядываешь чужую действительность день за днем, да еще пропускаешь это через процедуру сомнения, получается, что ты все время в командировке, а своего дома у тебя как бы и нет, есть только гостиница, где можно встретиться с родными и набраться сил. Журналист часто живет своей жизнью по остаточному принципу, хотя всем представителям этой по факту в основном «женской» профессии хотелось бы пожелать лучшего.

Чтобы избежать слова «миссия» (пафос журналистике абсолютно противопоказан), будем говорить, что мы в командировке. Тут главная проблема — подушки: не во всех гостиницах они удобные, но это как-то перекликается и с тем, что «нельзя спать». Мы все в командировке, хотя задание нам не всегда сформулировано отчетливо. Тогда эта книжка — отчет о командировке, который ведь тоже кому-то обязательно придется представить. Но пока он, разумеется, вчерне.

В последнее время мне часто приходится говорить о журналистике с разными людьми. Девушки видят в ней обещание легкой славы, которую дарит экран телевизора или теперь компьютера, стоит лишь там появиться, а иные и выдавшие виды мужи чаще говорят: «Ну и мерзость эта ваша журналистика!» В обоих случаях здесь просто ошибка в термине, и вовсе не о журналистике речь. Приходится всякий раз объяснять, что это такое, хотя тут и объяснять-то, казалось бы, нечего.

Из этих встреч, лекций и дискуссий и родилась эта книжка, сохранившая в себе как родовую травму некоторую распыленность, повторы и необязательность, свойственные устной речи. У меня не получается это исправить, ведь ученым, как и писателем, на постоянной основе я так и не стал. По сути, это более или менее приведенные в порядок конспекты лекций и устных выступлений, которые, впрочем, никогда

не излагались и вряд ли могут быть изложены в том порядке, в каком они теперь здесь записаны, и лишь для удобства пользования рассредоточены по главам.

Эта книжка вторая. Первую («Завтрашний номер. Философия журналистики». М., 2013) с учетом меняющейся реальности я решил было немного подправить, а в результате от нее осталось только одна фраза — вы ее уже прочли: «в завтрашний номер». В журналистике самоцитаты удаются редко. Здесь ты всегда все видишь уже другими глазами, все надо переписывать с чистого листа. Невозможно переписать только историю — ведь нельзя сделать бывшее небывшим. Попробуйте-ка переписать историю самого себя. Ну ведь вы же ее знаете!.. Тогда кто вам сказал, что можно переписать историю всех остальных? А журналист — это и есть историк, но сегодняшнего, которое уже куда-то уходит, продолжая длиться.

«Газета живет один день» — мне не удалось, к сожалению, установить авторство этого афоризма («Гугл» норовит рассказать про аналогичное насекомое), но это высказывание крайне важно. В нем есть и скромность, и самоирония, но и понимание того, что этот день точно так же принадлежит истории, как и любой другой, что современность и вечность пересекаются как раз в той точке, где появляется *новость*: факт, вписанный в какую-то историю или цепочку актуальности, — и рефлексизирующая ее журналистика.

В этом смысле журналистика всегда *больше чем журналистика* — она механизм общественной рефлексии, коммуникативный разум (подробнее об этом мы поговорим в следующих главах), она тот самый *текст* (в широком смысле слова), та самая *структура* и *дискурс* (подробнее о нем также в свое время), которые надо построить, чтобы человек и общество не утонули в энтропии и поняли сами себя, *какие они есть*.

Я отнюдь не наивен, работал во многих «СМИ», со многими и всякие-разные видел трансформации, да и сам тоже не ангел. Сегодня далеко не лучшее время для журналистики, и сейчас она существует, пожалуй, в виде ископаемого динозавра. Это дает замминистра связи и массовых коммуникаций Алексею Волину основания говорить о том, что

«журналистики как таковой в XXI веке больше не существует»: «...теперь она является составным элементом медиабизнеса» (из его выступления на конференции на журфаке МГУ «Медиапрофессии 21 века» 21 июня 2016 года).

Возможно, ему — чиновнику странной искренности — просто хотелось бы так думать. И он, и я, и студенты журфака, которым профессор Иосиф Дзялошинский много лет задает один и тот же вопрос, требуя эссе на тему «В чем обвиняют журналистику?», отлично понимаем, и в каком состоянии она сегодня находится, и что выпускникам журфака, вероятнее всего, в ближайшие годы придется заниматься не ею. Но те импульсы, которые вызывают к жизни и развивают журналистику — как *одну из многих форм реализации человеческой свободы*, — никуда не исчезали и не исчезнут. Они заложены в природе человека, а следовательно, и общества.

В записных книжках Бориса Стругацкого, которые мой сегодня главный редактор Дмитрий Муратов листал после его смерти, он нашел запись: «Будущее создаешь ты... Но не для тебя». Поэтому в виде второго заголовка я сохранил и название той первой своей, еще довольно легкомысленной, книжки «Завтрашний номер». Вчерашний номер газеты — это то, во что заворачивают селедку, его можно уже только обсуждать, чтобы понять, что мы сделали не так. Но жизнь продолжается, и журналисты продолжают писать всегда *в завтрашний номер*.

В книге я буду приводить примеры своих и чужих высказываний, и в той мере, в какой они были журналистскими, они также остаются и «политическими». Они все еще актуальны (а иначе и пересказывать их не имело бы смысла), но я против того, чтобы сама эта книжка рассматривалась как *политическое высказывание*. Политика преходяща, политики сменяют друг друга, да и сами государства тоже появляются, перерождаются и исчезают. А мы будем говорить о журналистике как о современной форме такого более общего явления, которое было, есть и будет в любом обществе. Оно обладает собственной преемственностью, горизонт которой длиннее, чем зигзаги развития исторических стран.

Но и в актуальности тоже есть своя перспектива, как в пространстве: что-то в данный момент выходит на первый план, а что-то, ослабевая в актуальности, вытесняется на периферию (в газете — с первой полосы на внутренние). После событий 2014 года на Украине и появления «Панамского архива» и мир, и описывающая его журналистика не могут оставаться прежними — меняются и темы, и способы работы над ними.

Главная проблема сегодня состоит в том, что мы не слышим друг друга, чему, как ни странно, очень поспособствовал интернет (о проблеме замкнутых смысловых контуров мы поговорим специально в главе II). В действительности мы и не спорим, потому что, чтобы спорить, надо сначала услышать. Этим грешат отнюдь не только те, кто думает не так, как мы сами, но и мы сами тоже.

Наверное, мне будут предъявлять претензии, что книжка «написана исключительно с либеральных позиций». Но штука в том, что журналистика *либеральна как таковая*, и никакой другой она быть просто не может. Она порождение либерального (западного) общества и по определению несет на себе печать либеральных традиций, а свобода слова, лежащая в основе журнализма, неотделима от свободы как таковой.

Но есть «свобода от» и «свобода для», свобода отвернуться, бежать, но и свобода остаться. «Свобода от» превращается таким образом в «бегство от свободы» (Эрих Фромм), а «свободой для» в крайнем пределе воспользовался Януш Корчак, шагнув в газовую камеру вместе с детьми. Действительность часто бывает не просто отвратительна, но и страшна, и никто не вправе ни от кого требовать подвига как акта свободной воли. Но и свобода остаться, чтобы попытаться что-то изменить, тоже всегда есть, однако, чтобы ее реализовать, нужно стоять двумя ногами в действительности.

Отец Георгий Чистяков (1953–2007), с которым мне повезло быть знакомым, священник, историк и знаток древних и новых языков, иллюстрируя разницу между каноническими Евангелиями и апокрифами в книжке «Над строками Нового Завета», замечает, что все апокрифы содержат

в себе элементы «пропаганды» (я ставлю кавычки, поскольку он употребляет для этого другие термины): в пользу евреев против Рима или наоборот. В этом смысле можно сказать (жаль, что я не успел обсудить это с о. Георгием), что во всяком случае Матфей, присутствовавший при описываемых им событиях, это древний журналист, старавшийся записать все так, как он это видел и понял (придавая значение, может быть, не всегда тому, чему его придавал бы современный человек). Похоже, что первые синоптические Евангелия, написанные не сразу после смерти (и воскресения — для тех кто в это верит) Иисуса, как раз и были продиктованы желанием защитить Его имя и задокументировать подлинную историю в ответ на начавшиеся спекуляции.

«Вначале было Слово», — напишет чуть позже Иоанн. Но и потом будет много-много-много слов. Только в отношении первого сомнений быть не может, но все, что будет сказано позже, сомнительно. Истину от лжи очень трудно отличить, замечает Мераб Мамардашвили, так как «слова, которыми они описываются, всегда одни и те же». Слова необратимо страдают каким-то изъяном, особенно заметным в том свете истины, за который мы к тому же часто принимаем искусственное освещение.

Примеры, которые я буду приводить в книжке — хотя бы в силу того, что журналист привык работать с фактическим (эмпирическим) материалом, — будут случайны в том смысле, в каком случайна всякая эмпирика: где-то я был, где-то не был, кого-то знаю близко, кого-то шапочно, что-то прочел, а что-то прошло мимо меня. Я надеюсь, что не случайными окажутся мысли, поскольку у их уже долго думаю.

Вот что пишет новомодный (при этом глубокий и остроумный) современный философ Славой Жижек (вообще-то, я понимаю там, дай бог, четверть прочитанного, но эта мысль мне ясна): «Главная функция Хозяина состоит в том, чтобы определить ложь, способную поддерживать групповое единство: удивить субъектов утверждением, которое в явном виде противоречит фактам... Недостаточно утверждать “Это моя страна, права она или нет!”: моя страна — по-настоящему

моя, лишь покуда она, в определенном отношении, *неправа*... Общая для всех ложь — связь несравненно более действенная, чем правда».

Очень верно, но стоит ли дорожить такой «скрепой»? Это вопрос.

В том романе про присяжных, который мне все же удался десять лет назад, сама собой нашлась удачная формула, она скорее художественная, но я ее здесь воспроизведу: не так, что мы хотим знать правду (чаще всего мы этого вовсе не хотим), а *правда хочет быть узнанной*. Не она является нашим инструментом, а наоборот: мы — ее.

Забегая вперед (эта тема будет раскрыта ближе к концу книги), мы можем определить род своей деятельности как *борьбу за правду, которая как таковая никому не нужна*. Она всегда оказывается нужной кому-то для чего-то, но как только появляется это «для чего?», оно сразу же отнимает у нее это качество правды. Этот вывод был бы очень горек, если бы не одно но: правда все-таки существует — а без нее и журналистика не могла бы существовать, и я бы не смог вам здесь о ней сообщить вообще ничего.

ГЛАВА 2. ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ И ЖУРНАЛИЗМ

Николай Бердяев, размышляя о причинах и следствиях русской революции, постоянно, почти маниакально твердит о *подмене*, употребляя также разные эквиваленты этого смысла. Антагонизм подлинности и подделки приобретает у него накал борьбы Добра со Злом. Я не поклонник Бердяева, но его мысль о связи «подмены» и катастрофы кажется мне очень точной и актуальной: тут дело в *онтологии*, а шутки с ней кончаются плохо.

Власть традиционно обвиняет журналистов в том, что они-де «раскачивают лодку» и «расшатывают устои». В «расшатывании», разумеется, есть доля риска: движение истории всегда с ним сопряжено, но если мы что-то и «расшатываем», то лишь пропагандистский миф, сравнивая его с действительностью. Журналистика не позволяет мифу отклоняться слишком далеко от действительности, что как раз и грозит обрушением всей конструкции.

С расхожим определением журналистики как второй древнейшей профессии можно даже и согласиться, если первая — это пропаганда. Журналистика реагирует на *симулякр* пропаганды, бросаясь разоблачать его, и это ее безусловный рефлекс. Но и пропаганда, со своей стороны, тоже хочет выглядеть благопристойно, рядится в тогу журналистики, для чего ей надо оперировать фактами. Фактов у нее всегда нехватка, пропаганда производит фейк, журналистика бросается его разоблачать, и, таким образом, вопрос об их первенстве приобретает вид аporии о курице и яйце.

Сложность в том, что все это сосуществует в одном смысловом пространстве. Именно смысловом, а не информационном, поскольку ценностные ориентации играют здесь куда более важную роль, чем факты, и начинают переопределять потоки информации. К тому же в том же смысловом пространстве существуют еще и массовые развлечения и желтая пресса, что с точки зрения пропаганды рассматривается как сопутствующие товары, а с точки зрения журналистики — как шум.

Однако, работая в газете, ты начинаешь понимать, что не ты формируешь *повестку*, а она форматирует тебя. Ведь когда взорван дом или сбит самолет, в газете не может быть написано о чем-то другом, во всяком случае на первой полосе. На войну журналисты и пропагандисты едут в одном вагоне, а их различия вступают в силу по прибытии. Можно, конечно, попытаться манипулировать повесткой, но смешно думать, что она не отомстит.

Но вопрос можно поставить и шире: изменяем ли мы реальность, описывая ее, или это она через свое описание изменяет (пересоздает) нас? Это процесс взаимный.

Жан Бодрийяр (1929–2007, Франция), философ, которому мы обязаны понятием «симулякр», определяет его как такой объект, которому «ничто не соответствует в онтологическом ряду бытия». Бог (для постмодернизма характерней агностицизм, я тоже не собираюсь заниматься религиозной пропагандой, но так рассуждать удобней) создал мир, в котором установились такие-то законы, а затем и человека, наделив его «по образу и подобию своему» творческими способностями. Человек начал сочинять всякие сказки, потом (скорее до) мифы, восполняющие онтологическую реальность там, где в ней были (и всегда останутся) непонятные и пугающие лакуны.

Так образуется вторичная, созданная вне онтологии «виртуальная реальность». Однако *симулякр* не просто сказка без претензии означать нечто конкретное в мире сущего (как художественный фильм или компьютерная стрелялка), нет, это именно реальность — хотя бы уже в силу своей способности становиться причиной и генерировать последствия, в том числе в онтологическом ряду.

«Молот ведьм» — трактат иезуитов по демонологии, изданный в 1487 году, всего лишь спорил с теми, кто не верил в колдовство. Последствием его стало сожжение в Западной Европе тысяч женщин. Что-то подобное происходит сегодня в России с НКО по закону об «иностранных агентах» — их, правда, не жгут, но нельзя сказать, чтобы они не испытывали на себе последствий закона-симулякра и измененного им массового сознания.

Действуя, люди исходят из той картины мира, которую образует их миф: это и есть та реальность, которая их мотивирует. Человеку свойственно цепляться за мифы, в которых он незаметно для себя придает действительному еще и оттенок желаемого, и в случаях, когда мифы сталкиваются с рифами в онтологическом ряду, жертвовать реальностью. Рано или поздно мифы терпят крушение, и это процесс нормальный, но болезненный. Победу мифа, напротив, мы часто празднуем как свою собственную, ликуем и бросаем чепчики в воздух, однако миф всегда выигрывает только на время, и его победа всегда Пиррова. А свое поражение он терпит от журналистики.

Для объяснения картины мира в постмодерне Бодрийяр вводит понятия «гипертекст» и «гиперреальность». Гипертекст, внутри которого оказывается человек «информационного общества», состоит из массы явлений двух рядов: онтологического и виртуального. Суть же постмодернизма образует постулат, согласно которому эти две реальности становятся уже неразличимы: исчезают сами категории правды и лжи — как следствие, теряют смысл и противопоставления добра и зла, прекрасного и безобразного и т.д. Жан Франсуа Лиотар (1924–1998, Франция) также утвердил мысль, что постмодерн характеризуется кризисом «великих рассказов», или метанарративов, остаются лишь «короткие рассказы», которые сами скорее симулякры — они произвольны и ни на что не опираются.

Теперь мы рассмотрим два коротких (но актуальных) эпизода, за которыми надо будет увидеть еще и более длинный «нарратив».

12 мая 2016 года начальник автобронетанкового управления Министерства обороны РФ генерал А. Шевченко оторвал ручку двери у автомобиля «УАЗ-Патриот», после того как ее не смог открыть президент, которому в Сочи демонстрировали эту технику. Видео инцидента попало в сеть: стоит посмотреть на выражение лиц, снятых через стекла чудо-машины. В ручке ли было дело, или генерал, объяснивший явление своей физической силой, сам увидел такой «Патриот» впервые, но это так или иначе, не правда ли, говорит нам что-то о «боеготовности».

Чуть раньше я натолкнулся на пример в новостях науки: российские КБ сумели-таки в порядке импортозамещения после введения санкций создать полностью российский спутник. Но по использованным отечественным запчастям он оказался тяжеловат, чтобы ракета смогла вывести его на нужную орбиту. Сообщение об этом в «СМИ» было бы само по себе нейтральным, если бы не образовало уже некоторую историю как цепочку актуальности — не про спутник (и не про ручку «Патриота»), а про вице-премьера Дмитрия Рогозина, обещавшего нам двумя годами раньше экспедицию на Марс. Тот «нарратив» был еще короткий, а со спутником он оказался длиннее. Слишком тяжелый спутник в буквальном смысле слова возвращает на землю: законы физики — это онтология.

Здесь действительно рушится «великий рассказ» о Белке-Стрелке, Юрии Гагарине и космосе. Но совсем не журналисты виноваты в этом: их «короткие рассказы» отнюдь не произвольны. В качестве же компенсации мы начинаем понимать, что угол зрения постмодернизма, хотя он и рассматривает онтологическую реальность как «одну из», все же не может отменить ее вовсе.

Информация о спутнике появилась на научных сайтах, но по федеральным каналам телевидения об этом не рассказали. Сообщение о неудаче оказывается журналистикой, а умолчание о ней — пропагандой, дезертирующей от тяжелой необходимости развенчать миф. Пропаганда конструирует виртуальную реальность, оставляя журналистике работу в онтологическом ряду — она хуже оплачивается и не будет встречена аплодисментами власти и большинства.

Бодрийяр, описывая картину мира постмодерна (конечно, с переклестом и, наверное, сознательно провокативно), уделяет много внимания роли медиа в создании симулякров и их, в свою очередь, превращению в симулякр из-за утраты собственных оснований. В отношениях с массовыми аудиториями медиа и массы начинают просто отражать друг друга, как зеркала, не прибавляя к этому никаких новых смыслов. Для описания этих апокалиптических процессов Бодрийяр вводит специальные понятия: имплозия (взрыв внутрь,

схлопывание) и апотропия, которое имеет у него значение, пожалуй, взаимного бесстрастного отталкивания, отторжения. Однако *апотропия* заметна скорее в рекламе и пропаганде (что, на мой взгляд, в конечном счете одно и то же), а журналистика, в сторону которой Бодрийяр, собственно, и не смотрит, наоборот, пытается бороться с «холодным отталкиванием» и его «разогреть». Хватит ли у нее сил в рамках данного цикла или конец света действительно уже наступил — это другой вопрос.

Определяющей чертой журналистики, которая сама принадлежит (как свойство человечества) к онтологическому ряду и ради которой мы затеваем этот сложный разговор, является поиск (не всегда успешный — на то он и поиск) опоры на факты онтологического ряда: рождение, смерть, цены в магазинах, безработица, экономика в более широком и точном смысле слова, то есть отсылка к таким *очевидностям, которым нельзя (или трудно) придавать значение, отличное от их собственного*. Спутник (ручка) (от)летает: да — нет.

На одном из круглых столов конференции факультета журналистики МГУ в феврале 2016 года был предложен (но не был развит) взгляд на журналистику как *тестирование реальности* — этот термин Зигмунд Фрейд использовал, описывая способность различать психические образы и внешние объекты. Это весьма близко к предлагаемому здесь взгляду на журналистику как на инструмент возвращения к онтологической реальности.

Не стоит только обвинять нас в том, что мы радуемся неудачам собственной страны. Конечно, мы ерничаем немного, ну а что нам еще остается делать? Это, в конце концов, тоже часть журналистской профессии.

Журналистика очевидно завязывается там, где ее формы (тексты, иллюстрации, жесты) наполняются специфическим содержанием, по своей сути *негативным*: оно опровергает ложные послылы сильного мира сего, которые могут высказываться прямо или, наоборот, состоять в умолчании. Если бы власть всегда была правдива, у журналистики не было бы предмета, достаточно было бы просто хроники. Эти суть

и стержень журналистики (от которых она может порой отклоняться довольно далеко) мы и обозначим как *журнализм*.

Опираясь на опыт журнализма, мы интерпретируем постулаты постмодернизма с важной поправкой: *слои реальности не являются принципиально неразличимыми*. Они, может быть, плохо различимы, различимы не для каждого и только с помощью специальной оптики — ею как раз и оказывается журналистика. Она как очки для людей с близорукостью, хотя многих вещей мы предпочли бы и не видеть. Продолжая сравнение, пропаганда (антипод журналистики) предлагает массовому человеку розовые очки — такие, сквозь которые он увидит «реальность», совпадающую с его мифологией и потому не вызывающую у него отторжения.

Есть еще хорошее слово — *разоблачение*, надо только убрать тот налет, почти сатирический, который оно приобрело еще в советской прессе. Кто-то рядится в какую-то тогу, а журналист его разоблачает с той же неотвратимостью инстинкта, с каким охотничья собака бросается за зайцем.

Утверждение, что массовый человек живет в гиперреальности и главную роль в ее создании играют массмедиа, представляется важным для понимания принципиально новой *новой нормальности*, в которой мы все оказались. Для этой эпохи характерно также смещение исторических причин (как мотивов) в виртуальную сферу. Вряд ли случайно, что инициаторы и действующие лица «русской весны», такие как Игорь Стрелков (псевдоним, «подмена»), оказались еще и писателями-фантастами: они сначала придумали войну с Украиной (она описывалась в романе, вышедшем за несколько лет до ее начала), а потом призвали на нее живых людей. Но часть этих людей возвращается как «груз-200» — это обратные последствия симулякра, но это и факты, которым трудно придать значение, отличное от их собственного.

Смерть российского солдата в Донбассе можно пытаться героизировать, но это сложно делать, особенно не признавая его присутствия там. Цель журналистики не спасти солдата, а привести реальность к такому виду, чтобы больше людей посмотрели на нее трезво и прямо, без «подмены». Роль журналистики в обществе, пусть даже большинство авторов этого

и не осознает, — *демифологизация массового сознания*. А спасение солдата и самого общества — это уж их собственное дело, но для этого они должны сначала протрезветь.

Смещение исторических причин (как мотивов) в виртуальную сферу превращает в пропаганду войну, парламентаризм, суд и много другое. Словно царь Мидас (согласно мифу в старом добром смысле слова), «СМИ» превращают в «золото» все, чего бы они ни коснулись, но это «золото» оказывается несъедобно. Журналистика, которая совсем не то же, что «СМИ», старается запустить обратный процесс.

В борьбе «партии телевизора с партией холодильника» (аллегория из «Новой газеты») шансы «холодильников» повышаются в кризис: телевизионная реальность виртуальна, а «холодильная» возвращает нас к онтологическому ряду. Вообще, человечество начало уставать от постмодерна, самые продвинутые хотят вернуться к онтологии: все большую популярность приобретает жанр non-fiction.

ГЛАВА 3. ФЕНОМЕН ЧЕСТНОСТИ И «ГЕРОИЧЕСКИЙ ТИП»

Журналист — это не только социальная роль, но и тип личности. Предостережение о «фундаментальной ошибке атрибуции» напоминает нам, что поступки (а поступком является и всякое *высказывание*) чаще определяются социальной ролью, чем свойствами личности, и место работы больше повлияет на то, окажется ли конкретный персонаж журналистом или пропагандистом (пиарщиком). Но и тип личности сильно влияет на попадание того или иного персонажа на ту или иную роль или отказ от нее.

Чтобы пояснить эту гипотезу, я расскажу историю про Сашу К. из Магнитогорска. Одновременно это будет и иллюстрацией *метода журналистики*, который всегда состоит в рассказывании историй (в английской традиции то, что у нас именуется «статьей», даже если речь идет о колонке или аналитике, называется *story* — «история»). Утверждение, что материей журналистики являются новости (факты) верно, но еще не закончено: любой факт актуализуется в виде продолжения какой-то уже известной публике истории, иначе — вне контекста — он представлял бы собой ноль бит информации.

История Саши К. довольно старая, подробно я описал ее в «Новой газете» еще в 2012 году («Полюса Магнитки» в № 31 от 21 марта). Я много раз пересказывал ее на лекциях и в дискуссиях, но лучшего иллюстративного материала в моей практике нет, а придуманная или измененная авторским вымыслом история утратила бы качество журналистики (хотя могла бы стать, в случае удачи, литературой).

Мартин Хайдеггер (1889–1976, Германия), конструируя свое знаменитое и труднопереводимое *Dasein* («вот-бытие») как «жизнь», погруженную в «мир», отмечает, что мир обладает свойством *фактичности* — это означает, что он сопротивляется описанию себя в понятиях: всегда есть «еще что-то», что ими не ухватывается, что можно только описать, но не объяснить. В этом смысле текст проигрывает фотографии, которая иногда способна лучше ухватить ускользающее «еще

что-то». Текст журналистской заметки для этого опирается на детали, описываемые скорее литературными приемами, что, однако, не превращает его в литературу. Всякая история должна содержать детали — как концептуальные, так и чисто случайные, важность которых состоит в том, что они делают ее похожей на правду: «Если нечто выглядит, как утка, плавает, как утка, и крикает, как утка, то это, скорее всего, утка и есть» (дак-тест, англо-американская народная мудрость).

Итак, Саша К. оканчивал в Магнитогорске технический вуз, но однажды услышал в маршрутке объявление о вакансии диск-жокея на музыкальной радиостанции. Он пришел на конкурс и на вопрос, какие диск-жокеи ему нравятся, честно ответил, что не знает ни одного, — за правдивость и был отобран. Так Саша К. попал в сферу медиа: музыкальная радиостанция — это тоже то, что называется «СМИ», хотя к журналистике ее работа имеет довольно отдаленное отношение (про музыку говорить не будем).

Владелец радиостанции — медиабизнесмен Кирилл М. — через пару лет оказался главой пресс-службы мэра Магнитогорска, куда перетянул и Сашу К., успевшего набить руку на «новостях» (натасканных из интернета). Здесь в его обязанности в числе прочего входил контроль за городским телеканалом. Однажды Кирилл попросил Сашу отсмотреть сюжет о школьных столовых, который должен был выйти в вечерних новостях. Сюжет касался недовложения мяса в школьные обеды, а фирма, обслуживавшая столовые, была как-то связана с администрацией города. Саша понимал, что ему надлежало сделать: он уже снял трубку, чтобы позвонить в редакцию, и сюжет о котлетах никогда не вышел бы в эфир. Но, как объяснил мне сам Саша, пересказывая этот эпизод своей биографии, «какая-то сила меня удержала».

Сюжет вышел, Кирилл М. уволил Сашу К., хотя они остались друзьями. Саша перешел на работу в городскую газету, где скоро стал популярным обозревателем — главным редактором там был журналист старой формации, поощрявший очерки «о людях». Но Саше там стало «неприкольно» — его тяготили архаичный формат и невозможность высказывать-

ся на злободневные темы. С потерей в заработке он ушел корреспондентом сайта «В.-инфо», тогда очень популярного в Магнитогорске.

Профессиональный журналист Павел В., владелец сайта, успел поработать во всех газетах города (в том числе в местных выпусках федеральных газет по франшизе), а его сайт стал популярен после полутора месяцев бездействия вследствие DDOS-атаки, организаторы которой так и не были установлены. Однако атака, следствием которой стала лавинообразная популярность «В.-инфо», началась после сообщения на нем о самоубийствах рабочих градообразующего металлургического комбината вследствие финансового кризиса 2009 года и задержек заработной платы.

Как признался мне сам Павел В., он не был уверен, когда написал об этом в блоге, что эти смерти действительно связаны с кризисом и в их числе в самом деле были самоубийства, а не несчастные случаи. Но как бы то ни было, когда DDOS-атака кончилась, его блог превратился в полноценный городской сайт, куда сразу пришло несколько тысяч уникальных посетителей. Узнав об этом, администрация комбината (то есть, по сути, Магнитогорска) предложила Павлу В. заключить «договор об информационном обслуживании», тем самым признав в его сайте даже на официальном уровне качество «СМИ».

Вернемся, однако, к траектории Саши К., который в отсутствие Павла В. (тот решил баллотироваться в депутаты горсовета и перестал следить за проектом) стал, по сути, главным редактором сайта. В его распоряжении была корреспондентка, которую он отправил написать про встречу мэра (кажется, уже другого) с врачами в городской больнице. Та вернулась и рассказала, что на встрече в больнице никакие производственные вопросы не обсуждались, зато мэр призывал врачей правильно голосовать на президентских выборах 2012 года. Саша К., прицепив к сообщению корреспондентки собственный комментарий о незаконности предвыборной агитации на рабочем месте, повесил заметку на сайт.

Через час заметка была снята Павлом В., которому позволил Владимир Д. — замдиректора металлургического комби-

ната, как сказали бы при советской власти, «по идеологии». Он напомнил Павлу про «договор об информационном обслуживании» — в результате тот уволил Сашу К., хотя, разумеется, они также остались друзьями.

Зато Владимир Д. в рамках своих должностных обязанностей решил как-то выжить Сашу К. из информационного поля Магнитогорска. К этому времени Саша раскрутил свой собственный сайт, который начал опережать по числу посетителей «В.-инфо» (поскольку сюда переместилась критическая повестка). В частности, Саша подробно писал о фальсификациях на парламентских выборах 2011 года в Магнитогорске, где по экзитполам «Единая Россия» набирала 37% голосов, затем официальные данные двое суток не публиковались, а потом при очевидно завышенной явке появилась цифра 63%.

К «заму по идеологии» Владимиру Д. я отправился не только с целью отразить его точку зрения, но и, каюсь, с намерением повлиять на нее. В принципе, это табу для журналиста, который не имеет права становиться участником событий, но в традиции российской журналистики смешивать ее с правозащитной деятельностью, а мне хотелось помочь Саше К. как коллеге.

Владимир Д. (в газете все участники были названы полными именами) оказался человеком умным, был готов слушать и старался удерживаться от предвзятости. Я попытался объяснить ему мотивы Саши К., а он объяснял мне, что Саша — это «рука Челябинска». Если бы в Магнитогорске обнародовали честные цифры голосов и допустили провал «Единой России», этим сразу же воспользовался бы губернатор Челябинской области, чтобы сместить мэра, избранного металлургами, и поставить свою креатуру. Последний довод против Саши К. Владимир Д. обосновал методом исключения: «Никто не сотрясает воздух просто так».

Прощаясь с Сашей К., я спросил, что он собирается делать дальше. Саша ответил, что, если ему удастся раскрутить свой новый сайт, он, наверное, тоже заключит с комбинатом «договор об информационном обслуживании». Дальнейшая судьба Саши мне неизвестна.

Перед нами модель информационного (смыслового) пространства российского города — с одной стороны, типичного, а с другой стороны, удобного тем, что в «моногороде» Магнитогорске все силовые линии прослеживаются очень отчетливо.

Прежде всего, мы видим, как сложно переплетаются здесь явления первой и второй — виртуальной — реальностей. Так, цифра 37% принадлежит к первой, а 63% — ко второй, но 37% срикошетили бы смещением мэра не за его реальные упущения и назначением челябинского варяга отнюдь не за его реальные заслуги. Поэтому статус реальности придается виртуальным 63%. (Перевод симулякра в официальный статус порождает массу последствий, о которых в силу их отдаленности мы зачастую просто не можем судить, и потеря интереса к актуальной информации только первое из них.)

Каковы здесь должная и действительная роль журналистики и «СМИ»? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять, что они такое и где находятся в этой картине. Попутно мы сформулируем еще один важный тезис: *журналистика и «СМИ» далеко не одно и то же*, они могут как пересекаться, так и существовать раздельно.

Некоторые «СМИ» в этой картине не генерируют никакой журналистской повестки, пережевывая рекламный продукт играющих на том же поле пресс-служб (музыкальная радиостанция). Другие (городская газета, из которой ушел Саша) стараются держаться безопасной повестки «про людей», не рискуя задирать планку критики выше уровня, понятного их внутренней цензуре (злополучная школьная котлета нуждалась в одобрении Саши), и здесь мы наблюдаем как бы разжиженную журналистскую повестку. Сайт «В.-инфо» является как «СМИ», по крайней мере в глазах читателей, хотя он с самого начала зарабатывает клики на непроверенной и предвзятой информации, а затем и вовсе утрачивает качества «СМИ», но тайно (читателям ничего не сообщается про «договор об информационном обслуживании»).

«СМИ» и журналисты появляются и исчезают, превращаются в симулякры, мигрируют из первой реальности в виртуальную, но в отдельных случаях мы наблюдаем и обратное

движение (на «В.-инфо» появляется правдивая заметка о встрече мэра с врачами). Ясно, что о «независимых СМИ» в этом городе нет и речи, и это плохая почва для произрастания журналистики. Однако, к некоторому нашему изумлению, последняя здесь полностью не исчезает. Скорее она притаилась, выбирая объекты по зубам, но иногда и прорывается всплесками рискованной критической повестки, как трава сквозь асфальт. Местом ее появления могут оказаться и традиционные «СМИ», и сайты, и социальные сети, и даже выступления на митингах (в которых Саша К. также принимал участие) — и здесь содержание высказывания оказывается важнее, чем его форма (носитель).

Традиционные «СМИ» на смысловой карте Магнитогорска никуда не исчезли, а скорее даже, приобретая характер симулякров, расплодилось, но постепенно они перестают играть роль узловых станций в том движении смыслов, которое ослабевает или усиливается в зависимости не столько от активности «СМИ», сколько от повестки в онтологическом ряду. При активизации повестки журналистика, а вместе с нею и сами журналисты перемещаются куда-то в другое пространство, вне «СМИ». Один и тот же персонаж днем может работать в пресс-службе и генерировать официоз, а по ночам под чужим или даже под собственным ником резать правду-матку в соцсетях.

Саша К., который в нашем опыте «меченый атом», периодически исполняется журнализмом, чтобы затем снова впасть в пиар. Что толкает его в одну сторону, даже и объяснить не надо, но что же это за «какая-то сила», которая заставила его вопреки собственным материальным интересам пропустить в эфир котлету? Ведь это был чужой сюжет, то есть это даже не тщеславие. Современный человек, Саша боится вслух назвать эту силу и выглядеть смешным, но мы произнесем ее имя: она называется «правда» или, если перевести в плоскость мотива, «честность». Это неприятие лжи, тем более сильное, чем выше ее ранг на структурном (официальном, государственном) уровне.

Сила правды (она же *феномен честности*), по природе идеалистическая, реальна как *мотив*, наблюдаема социоло-

гически и прогнозируема во многих социальных (массовых) проявлениях. Она имеет свойства вируса, то есть ею можно заразиться. Однако честность перемешивается и с мотивами иного, чаще всего практического, характера. Поэтому линия разделения на честных, нечестных и не очень честных проходит не как между «овнами и козлицами», а по живому: в чем-то и в какой-то момент человек честен, а в чем-то другом и в другой момент он лжет, и эта граница всегда динамическая, она может колебаться вплоть до поступка и даже после него (в плане самооценки).

В природе редко что встречается в чистом виде, в том числе и журнализм. Однако объяснять протестные действия Саши К. «рукой Челябинска» — грубое упрощение действительности и ее опасная мифологизация, как и пресловутые «печеньки Госдепа США». Хотя бы Саша даже и получал что-то от Челябинска (как и Госдеп мог поддерживать Майдан), общий вектор здесь определяется другими силами. Именно честность рождает в том числе движение журнализма, хотя, разумеется, не только его; например, тот же мотив движет наблюдателями на выборах. С точки зрения материализма журналистика — это в самом деле сотрясение воздуха просто так. Более того, как только перед журналистом появляется вопрос зачем, он сам как журналист оказывается под вопросом — его мотивация растворилась в какой-то иной целесообразности.

Анализ эссе на тему «В чем обвиняют журналистику?», которые год за годом собирает со своих студентов профессор Дзялошинский, показывает, что они четко видят разницу между журналистикой и пропагандой и вполне по-журналистски оплакивают свою неминуемую участь в пропаганде. Слова замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина о том, что «журналисты должны работать на дядю, который им платит», скорее становятся для них утешением — в духе того, что «во всем мире так, и везде говно», а появление на факультетах журналистики «отделений пиара» легализует это положение.

Разумеется, далеко не все эти заблудшие овцы потеряны для журналистики. Но для проявления их качеств честности

нужна среда, которая и в столицах сжимается (за счет перекрытия финансовых поступлений и умножения запретов и наказаний, см. главу 17), а в провинции в институализированном виде уже почти отсутствует. Проще ставить своими целями популярность и заработок — первая древнейшая в лице пропаганды распахивает для выпускников журфаков свои объятия (вместе с таблоидами).

«СМИ», как и любая корпорация (независимо от ее юридического статуса и размера), стремится ограничить свободу высказывания в ту или иную сторону, теми или иными границами. Но возможность нарушения этих границ, связанная с риском потери статуса и (или) заработка, — это и есть та линия, по которой журналистика в авторитарно устроенном и не понимающем ее собственной ценности обществе отрывается от «СМИ».

Социолог Алексей Левинсон, выступая на конференции «Журналистика и пропаганда в современных СМИ» в мае 2016 года, рассказал об опросах, которые «Левада-центр» проводил среди молодых журналистов. Отвечая на вопрос о профессионализме, респонденты называют им умение занимательно и четко изложить любую точку зрения — независимо от собственных убеждений. Они не считают это нечестным, поскольку «журналист», работающий на другую партию, делает то же самое. Получается, что журналистика — та же пропаганда, но справедливо, если она ведется с разных сторон.

Левинсон рассказывает также о попадавших к нему на фоне преобладающего профессионального цинизма примерах «героической журналистики». Он даже прослеживает ее институциональные условия: этот феномен случается чаще в городах, где существует три-четыре центра влияния, каждый из которых заводит свое недорогое «СМИ». И лишь в этих условиях бегающий между ними и вкушивший такой свободы журналист формируется как «героический тип», отстаивающий впоследствии свою свободу слова даже под угрозой физического насилия или уголовного наказания.

Эти исследования верно объясняют историю Саши К. из Магнитогорска. Большая часть его действий (рутинных и поэтому оставшихся за рамками рассказанной нами истории)

диктуется ролями, которые он на себя последовательно принимает. Но направленность этих действий резко меняется под влиянием поступков, а их уже можно объяснить скорее особенностями личности.

Мы узнаем эту личность, напоминающую хорошо знакомого советского «диссидента». Всякий мыслящий тем самым уже и инакомыслящий, и к этому типу, «выискивающему везде одни недостатки», принадлежат (в разной степени) не только многие журналисты, но и вообще люди, склонные критически воспринимать действительность. (По данным проведенного исследовательской группой ЦИРКОН опроса, опубликованным в январе 2017 года, уровень критичности среди журналистов в два раза выше, чем у остальной массы граждан.)

На самом деле этот тип или эта роль, по-видимому, настолько же древние, как и само человечество. Мишель Фуко (1926–1984, Франция) посвятил целый цикл своих лекций (последний был прочитан в Эколь Нормаль в 1984 году) парезии — свободной речи, как это называлось в Древней Греции. Мы еще обратимся к парезии более подробно в следующей главе, когда будем говорить о легитимности журналиста, а пока отметим, что Фуко описывает *парезию* как «говорение истины» — перед «народом» или «тираном», связанное с определенным и осознаваемым риском.

Когда вместе с печатным станком в обществе модерна появляются печатные медиа, они и становятся главным каналом для парезии. Дело цензуры — перекрывать эти каналы или перетягивать высказывающихся на свою сторону, а дело вновь и вновь появляющихся *парресиастов* — создавать новые возможности. Они раз за разом выбывают из игры или просто устают, процесс замедляется, но затем каждый раз вспыхивает с новой силой. Это, в общем, обычная история — так было и с Сократом, и с Иисусом, а теперь технические средства лишь сильно ускорили этот процесс.

Профессор Светлана Шайхитдинова (подтверждая нашу мысль о том, что медиа и журналистика существуют параллельно) говорит о разных типах «субъектности», которую представляют «системные СМИ» и «рациональные

журналисты». Она приводит историю ростовского журналиста и блогера Сергея Резника, которая и мне также хорошо известна. Когда пишутся эти строки, Резник все еще отбывает срок за совокупность «преступлений», центральное место в гирлянде которых занимает оскорбление судьи, названной в его блоге «крокодилицей». С точки зрения стандартов журналистики это, конечно, перехлест и моветон, однако Шайхитдинова объясняет их истерикой, вызванной неприятием роли журналиста со стороны общества и «системных СМИ». Потеряв структурные каналы для рационального высказывания, парресиаст бьется головой о стену и повышает голос только ради того, чтобы быть услышанными. Его «героизация» (в случае с Резником через уголовное преследование) не столько его болезнь, сколько симптом болезни общества, где «СМИ» перестают рассматриваться как выполняющие очистительную роль печени или почек. (К этому следует добавить фактор исчезновения в интернете редакции и «школы».)

Во второй половине 1940-х годов под впечатлением от германского нацизма эмигрировавшие специалисты франкфуртской школы во главе с Теодором Адорно (1903–1969, Германия — Швейцария) провели на базе Калифорнийского университета с гражданами США эмпирическое (психологическое) исследование «авторитарной личности», направленное на выявление определенного типа людей, с готовностью принимающих фашистскую идеологию (без которых невозможен и сам фашистский режим). Это исследование не ставило целью выявить и описать также и «антиавторитарную личность», но Адорно признает и ее существование, оговариваясь, что описать ее было бы значительно труднее, поскольку этот тип личности гораздо более разнообразен по остальным параметрам. То, что безусловно отличает этот тип от «авторитарной личности», — это *нонконформизм*.

Конечно, общество, состоящее из одних нонконформистов, обречено на гибель, и в этом глубинная ошибка анархизма как проекта (но не как направления мысли, внутренне тесно связанного с журналистикой). На самом деле на этот

счет беспокоиться не стоит: конформистов всегда превосходящее большинство. Но и общество, состоящее сплошь из конформистов, оказывается, тоже обречено, оно сползает в тупик архаики, не говоря уже о сопутствующем такому сползанию разложению нравственности.

Ханна Арендт (1906–1975, Восточная Пруссия — США), пораженная тем, как «массы» в довоенной и послевоенной Германии без усилия приняли сначала нацистскую, а после поражения — антинацистскую идеологию, делает вывод, что «массы» как бы просто переключают одну идеологическую систему на другую, словно это мода на платье: им важна система как таковая. Примеры незараженности этой «модой» Арендт видит во внесистемных, с виду лишенных корней и часто не вписывающихся в традиции людях, способных *выносить суждения*, для чего им приходится, не ища опоры в идеологии, оценивать ситуацию, в которой приходится совершать поступок, всякий раз заново и так, «как если бы в этот момент только они и были законодателями для самих себя» (Кант).

Именно это делает и журналист, только его поступок к тому же всегда публичен: его *протестное высказывание* по определению адресовано *публике*, хотя часто выглядит в ее глазах маргинальным. Журналист не обязательно жертвует собой (хотя и так бывает), но он имеет мужество быть свободным в высказываниях. Журналистика (мы возвращаемся тут к сказанному Левинсоном) всегда «героическая», это сам способ ее существования, а лучшие журналисты часто люди с довольно неудобным характером в быту.

ГЛАВА 4. «ВЛАСТЬ» И ЛЕГИТИМНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА

Свое первое журналистское удостоверение внештатника я получил (сейчас полезу в дальний ящик стола и посмотрю) 4 января 1986 года в журнале «Крокодил». Если кто уже не застал, был такой журнал «политической сатиры», орган ЦК КПСС — впрочем, там и в самом деле попадалось много смешного. В «Крокодиле» не надо было никого хвалить, и никаких неудобств мне это не доставляло. Зато бордовая корочка из настоящей кожи открывала любые двери — даже двери гостиничных ресторанов, где в те годы никогда не было мест, — и создавала *иллюзию власти*.

Мой первый фельетон (по форме рассказик) был напечатан в «Крокодиле» в 1984 году и посвящался постановлению ЦК Компартии и Совмина Туркменской (или Киргизской, точно уже не вспомню) ССР, которым устанавливались дополнительные коммунальные платежи для обладателей собак и кошек. (Как актуально! Только что стало известно, что налоги на кошек планируется ввести и в РФ.) В рассказике кошка Мурка в отсутствие хозяев звонила по телефону соседскому псу Шароку, и, ссылаясь на то, что за телефон теперь уплачено, они обсуждали эту законодательную новацию.

Не прошло и месяца, как редактор вызвал меня и сурово (сдерживая хохот) попенял на ошибку: в опровержении, поступившем в журнал из ЦК КП не то Туркмении, не то Киргизии, сообщалось, что там не было платы за телефон, а только за воду и, кажется, за электричество. Ну, все обошлось, и я даже стал постоянно ездить от «Крокодила» в командировки, но тот случай сразу научил меня быть серьезным. В самом деле, каждая моя заметка грозила директору завода или школы или начальнику колонии, где я появлялся, строгим выговором, а то и увольнением или уголовной статьей.

Меня это скорее тяготило, я хотел работать для читателей, а не против кого бы то ни было, у меня не было чувства уверенности и *самолегитимности*, хотя тогда я бы это, конечно, так не сформулировал. Не помню, понимал ли я уже тогда,

что это власть не моя, а ЦК КПСС, которому одинаково подчинялись и журнал «Крокодил», и завод, и всё в СССР. «Эффективность журналистских выступлений» в то время была колоссальная. Сегодня бывалые журналисты вспоминают о ней с тоской: теперь, что бы мы ни написали (или ни показали по телевизору), ничего-де не происходит.

Но, во-первых, это не так. «Анатомия протеста» — как бы документальный фильм, который был показан по НТВ в марте 2012 года, — продемонстрировал точно такую же, как в СССР, власть «СМИ»: все его герои были осуждены по «Болотному делу». Но не все журналисты хотят такой власти, и не все хотят быть инструментами Власти. Они ищут для себя точку опоры где-то в другом месте. В каком?

Ни одно высказывание не причинило журналистике больше вреда, чем метафора о ней как о четвертой власти. Ничто не чуждо журналистике до такой степени, как претензия на власть и, говоря шире, на *вмешательство*.

В странах демократии гораздо больше оснований говорить о власти медиа, которая реализуется через механизмы выборов. Медиа, разумеется, позволяют манипулировать общественным мнением и избирателями, опираясь в том числе на популизм (чем как раз и озабочены западные исследователи), однако это делают скорее не журналисты, а все-таки владельцы медиа, за деньги лоббистов нанимающие пропагандистов и пиарщиков. Что-то похожее теперь происходит и в России, но тут все смешается совсем в гиперреальность, так как решения принимают вовсе не избиратели, и это понятно всем.

Тем не менее там, где выборы честны хотя бы на уровне подсчета голосов и это свойство честности как бы пронизывает все отношения, не исключая медиа, власть журналиста легитимируется его ролью в качестве необходимой и важной детали всего этого механизма. Избиратель должен знать и понимать, за кого или за что он голосует, а журналист должен быть беспристрастен (роль пропагандиста одной из партий или одного из кандидатов, если она заявлена и узнаваема, тоже легитимна, но по-другому).

Однажды, когда я оказался в Киеве в начале 2008 года (долго до Майдана и в совершенно миролюбивой обстановке), мой старый друг Савик Шустер пригласил меня посидеть на одной из скамей в студии во время его ток-шоу. Сидящие на моей скамейке, как и сам Шустер, говорили по-русски и переводили мне с украинского непонятное. Речь шла о какой-то драке с участием мэра Киева, который присутствовал в студии и не очень убедительно объяснялся. Потом за чашкой кофе я спросил у Савика, для чего политики, которым тут явно не поздоровится, вообще к нему приходят. Ответ был простой: если они не придут и Шустер скажет об этом в эфире, любой из них сразу же потеряет сколько-то процентов электорального рейтинга.

Даже если выборы предполагаются не в ближайшее время, но честные, эта власть журналиста (в рамках его передачи или колонки в газете) тоже всем понятна. Напротив, если всем понятно, что выборы будут проводиться в неравных условиях, то и журналист, подыгрывающий одной из партий, безошибочно опознается как пропагандист. Аудитория (даже телевизионная) не так глупа, как кажется, на российские «ток-шоу» она смотрит как на ристалище, где шансы участников заранее не равны, а ведущий даже не делает вид, что беспристрастен: он такой же «болельщик», но он и «арбитр», получивший власть от владельца телеканала (а тот — от Власти).

И все же любой журналист, проводящий, в частности, журналистские расследования (на самом деле это скорее не отдельный жанр, а прием), знает из опыта, что у него есть и некая собственная, хотя и не совсем понятная «власть» — а именно *право присутствовать и задавать вопросы*. И при прочих равных условиях (при отсутствии давления из какой-то другой области Власти) люди почему-то предпочитают на них отвечать, даже если эти вопросы им совсем не нравятся.

Однажды в 7 часов утра в январе 2012 года мы с одним иркутским коллегой пришли в морг иркутской больницы, чтобы задать вопрос патологоанатому. У меня в кармане лежала копия свидетельства о смерти Николая Паленного,

директора Верхне-Ленского речного пароходства, который был найден повешенным в своем гараже в Усть-Куте 30 декабря 2002 года. Копия была подписана этим патологоанатомом на следующий день. Я получил ее окольным путем, бумага могла быть подделана, и ее надо было подтвердить словами врача, производившего вскрытие. Я задал вопрос, помнит ли он труп Паленного, и врач ответил, что, разумеется, нет, так как он каждый день вскрывает по несколько трупов. Но забеспокоится. Я вынул копию и спросил, его ли это почерк, и он сказал да. А верно ли то, что написано в его заключении: «Странгуляционная борозда — сомкнутая»?

Да. Ну, да. Не выдумал же он это тогда, девять лет назад. Гибель Паленного была квалифицирована в 2003 году как самоубийство, уголовное дело прекращено и списано в архив, хотя некоторые факты вызывали сомнения — в частности, в то время в деле были показания о ссоре погибшего незадолго до гибели с сыном Генерального прокурора РФ Артемом Чайкой, чья структура впоследствии оказалась собственником Верхне-Ленского пароходства. Но главным фактом была странгуляционная борозда: при самоповешении она не может быть сомкнутой. Врач не хотел отвечать: за окном было темно и холодно, а в коридоре родственники покойных дожидались, когда он вскрыет очередной труп. Он понимал, что сегодня же к нему придет еще кто-то и потребует, скорее всего, уничтожить хранящийся где-то оригинал этого свидетельства, но он тем не менее ответил. Это тоже было связано с «уважением к профессии», как ни странно.

Журналист «Новой газеты» Роман Анин, работавший в России с документами из «Панамского архива», проверяя информацию об офшорах, зарегистрированных на виолончелиста Сергея Ролдугина, подошел к нему после концерта в Консерватории и задал вопрос об этом и о его дружбе с президентом. Виолончелист, показавшийся Анину «открытым, добродушным дядькой, который не сильно посвящен во всю эту историю», пригласил его и еще двух журналистов в примерку и сказал, в частности, следующее: «Я был связан с этим бизнесом давно-давно. Еще до перестройки. Так получилось. И потом это стало развиваться, и получились

такие вот вещи». Здесь, как и у нас в Иркутске, мог сработать, разумеется, и эффект неожиданности, и затем Ролдугин (спрятавший запрос «Новой газеты» в футляр для виолончели) вообще перестал брать телефонную трубку, но какая-то «власть» заставила его в первый раз ответить на вопросы Анина и даже сказать, наверное, много лишнего (см. об этом подробнее в главе 21).

«Власть» Анина над Ролдугиным вытекает не из публичного характера отношений: виолончелист если и публичен, то совсем в другом роде. Точно так же Михаил Зыгарь построил свою журналистскую книжку «Вся кремлевская рать» о биографии Путина целиком на интервью с бизнесменами и чиновниками, которые — а их были десятки — просили не называть их имен, но тем не менее много чего Зыгарю рассказывали. Мне также не раз случалось задавать вопросы и получать на них ответы от тех, кто не был заинтересован в огласке соответствующих сведений. Все эти люди всякий раз строили сложную цепь мотивов, но и желание сказать правду (или нежелание соврать) тоже играло в ней важную роль.

Интерес журналиста даже в глазах тех, кто предпочел бы его вовсе не видеть, легитимен, а власть задать вопрос признается как законная. Даже охранник, выполняя поставленную ему задачу разбить телекамеру, явно испытывает внутреннее неудобство от такого действия. Никто из «фигурантов» (слово из лексикона следователей, обладающих властью допрашивать от имени государства) не задает журналисту вопрос: «На основании чего ты лезешь не в свое дело?» Вопрос чаще задается иначе: «На кого ты работаешь?» — но он свидетельствует, что респондент видит в своем визави уже не журналиста. Нам же важно понять, что легитимирует эту *власть журналиста*, но не в смысле формального и не особенно действующего «закона о СМИ», а фундаментально.

Мы возвращаемся к тому, что уже было сказано о журналистике в главе 3: эта «власть» основывается на том и только на том, что журналист действует не в чьих-то интересах, а *просто так*, можно сказать ради истины. Пока он еще только собирает материал, но его «властные» действия легитимизируются в следующем шаге (который приобретает тем самым

для журналиста черты обязательности — у него нет права узнать и не рассказать), когда он станет «свидетельствовать», то есть, по Мишелю Фуко, совершать акт *паррезии* — держать свободную речь об истине перед «народом» и (или) «тираном».

Фуко подробнейшим образом анализирует акт паррезии в Древней Греции, приводя, в частности, казнь Сократа в качестве доказательства того, что тиран-то, если он умен, еще может стерпеть паррезию (хотя Дионисий не стерпел и продал Платона в рабство), но опасней всего положение парресиаста при демократии — перед лицом толпы. Исторически Фуко «протягивает» паррезию и дальше, замечая, что истина может высказываться или передаваться в четырех модальностях: пророк, мудрец, специалист, парресиаст. Пророк говорит как бы не от себя, мудрец больше молчит, специалист ничем не рискует, просто передавая свои знания, и лишь парресиаст говорит об истине по определению громко, от себя лично и с внутренней готовностью огрести за это по полной программе.

Наверное, это наглость со стороны дилетанта, но я позволю себе развить схему Фуко. Во-первых, он обходит молчанием модальность свидетеля, в частности, в суде, а в современном мире она единственная *обязывающая*, то есть влекущая юридическую ответственность за ложь или отказ сказать правду. Во-вторых, накладывая свою схему на современность, Фуко не задумывается о роли журналиста; скорее всего, причина все в том же характерном для философов неразличении журналистики внутри медиа.

Между тем именно журналист подхватывает функцию говорения истины и несет ее дальше — и в этом смысле ехидный Сократ с его характерным задаванием вопросов вместо утверждений, безусловно, предтеча если не всей журналистики, то того жанра, который сегодня называется публицистической колонкой. Однако чем дальше в современность, тем лучше журналист осознает, что истину он может высказать лишь предположительно, в связи с чем обязан быть еще и «специалистом», способным ее обосновать и доказать. Истиной в современном смысле может считаться (да и то лишь *может* считаться) только вступившее в силу решение суда,

а любое другое утверждение, пусть даже и церкви, не имеет под собой такой лицензии. Но и судебное решение не препятствует журналисту продолжать говорить о фактах, с которыми оно не согласуется.

«Власть» журналиста чаще всего публично «конкурирует» (здесь кавычки как раз очерчивают проблематику, которой мы сейчас займемся) с судебной властью и властью правоохранительных органов, которая по закону производна от судебной и точно так же легитимируется последующим судебным решением, как «власть» журналиста — его отложенным правом на суждение. Журналистское *суждение* (подробно о нем в главе 9) выносится по правилам, сходным с юридическими процедурами, но может расходиться с судебными решениями, в том числе «вступившими в законную силу».

Около десяти лет, до 2008 года, я возглавлял Гильдию судебных репортеров и Агентство судебной информации (АСИ), ставшее ее главным проектом. В рамках АСИ была создана сеть собственных корреспондентов из региональных журналистов и пресс-секретарей судов. Каждый новый собкор засыпал АСИ описаниями бессмысленно кровавых преступлений и споров на огромные суммы, но постепенно нам удалось выстроить информационную политику, которая выражалась названием нашей главной рубрики: «Большие победы маленьких людей» (это название использовалось также в передаче о суде, которую я несколько лет вел на радио «Свобода»).

С технической точки зрения каждое сообщение представляло собой описание того или иного вынесенного судебного решения, что гарантировало точность фабулы и избавляло центральную редакцию от необходимости перепроверять информацию. А по сути, лучшие из этих сообщений, размещаемые на сайте, были свернутыми *очерками* (мы старались вытягивать из собкоров и чисто житейские детали) о столкновениях их героев с более сильным противником (бюрократией, милицией, магазином, банком, с тем же судом), причем более всего ценились именно победы, хотя и поражения тоже шли в дело.

В определенном смысле это была пропаганда суда как площадки, на которой более слабый может одержать победу над более сильным, и отбор историй не был вполне репрезентативным. Меня тревожила совесть, и я спросил совета у Людмилы Алексеевой, которая одобрила нашу пропаганду как продолжение идеи, выраженной в лозунге еще советских диссидентов: «Власть, соблюдай свою Конституцию». «Сильным» эта штука тоже очень нравилась: Совет судей вручил Гильдии за проект АСИ премию «Фемида», лучшие адвокаты страны комментировали наши истории в «Российской газете», где я три или четыре года вел на их основе постоянную колонку. Венцом нашей деятельности стали 52 (по числу недель в году) коротких мультфильма, сделанных по материалам конкретных судебных историй, с комментариями звезд юриспруденции и даже судей. Два диска с этими мультиками, которые были записаны совместно с АНО «Интерньюс», должны были быть разосланы региональным телестудиям для демонстрации в утреннем эфире...

Увы, в июне 2007 года против главы «Интерньюс» Мананы Асламазян, сделавшей для обучения журналистов региональных телеканалов, по их же собственному свидетельству, больше, чем кто бы то ни было другой, было возбуждено уголовное дело «о контрабанде» по факту ввоза ею через границу в Россию 10 тыс. евро при максимально разрешенной сумме в 10 тыс. долларов. Конституционный суд через год указал, что учитывать следует лишь разницу, образуемую котировкой, а не всю сумму целиком, и в действиях Мананы имелся состав лишь административного проступка. Но к этому времени «Интерньюс» был уже разгромлен, документы его куда-то увезены, персонал разбежался, а сама Манана от греха подальше уехала на несколько лет во Францию.

Конечно, Манана нарушила «закон», но к тому времени любой руководитель любой российской организации уже был поставлен в такое положение, когда часть расходов приходилось производить налом, и к тому же за ней следили. «Интерньюс» стал первой жертвой охоты на «иностранцев», когда еще и закона такого не было: Манана попала в поле зрения спецслужб, так как ее программы финансировались

в основном за счет Агентства США по международному развитию (USAID) и Фонда Джорджа Сороса.

В Совете судей, я слышал, спохватились, что дали нам «Фемиду», ведь деятельность АСИ тоже финансировалась Фондом Сороса. А кем же еще? При несомненной пользе этого проекта для авторитета судебной власти мы никогда не получили от судебного департамента ничего, кроме статуэтки Фемиды. Попытки найти деньги на продолжение проекта у российских фондов не увенчались успехом. Знакомый олигарх объяснил: «Ваш проект полезен для всех, поэтому денег на него никто не даст». Идею АСИ затем частично скопировало Российское агентство правовой и судебной информации, раскрутившееся в рамках РИА «Новости», но в РАПСИ ставка была сделана на эксклюзивный доступ к самым громким судебным делам, и наш фокус с «большими победами маленьких людей» никем не был повторен. Сегодня для этого вряд ли найдется и достаточно материала: суды все реже рискуют поворачивать закон против «более сильных», и журналистика перестает быть естественной союзницей правосудия.

Мой очерк о Манане Асламазян с подробным разбором ее дела был опубликован в «Новой газете» в 2008 году, и это стало для меня своеобразным рубежом трансформации прежней судебной журналистики в «антисудебную». Отказавшись (в отличие от многих бывших журналистов) следовать за пропагандой или дрейфовать в сферу развлечений, журналистика стала активно развиваться в сторону *журналистского расследования* (о жанрах очерка и журналистского расследования мы будем подробно говорить в главе 14).

Однако журналистское *расследование* по видимости покушается на прерогативы суда и «правоохранительных органов», ведь с правовой точки зрения только они могут предъявлять обвинения и выносить приговоры и обязательные решения по гражданским делам. В этом сложном противоречии есть как мнимая, так и вполне реальная сторона.

Суд, как и правительство, или церковь, или любое иное человеческое устройство, не обладает монополией на истину. Суд и «правоохранительные органы» обладают лишь

монополией на государственное принуждение (к сожалению, на практике она переходит от суда к исполнительной власти). Вопрос тут не в истине как таковой — в *принудительной силе*, которой обладает судебное решение и не обладает никакое суждение никакого другого субъекта. А журналистика лишь описывает конфликт, перемещая его из частной сферы в публичную и тем самым помещая в пространство общественной рефлексии, но не претендует на обязательность выносимых в связи с этим суждений.

Широкое обсуждение может повлечь за собой и пересмотр судебного решения под влиянием общественного мнения. Сами судьи любят называть это «давлением на суд», но, с одной стороны, оно чаще оказывается в сторону ужесточения («Распни его!»), а с другой — профессия судьи, как и журналиста, обрекает его работать «под давлением». На самом деле монополия суда на государственное принуждение здесь не нарушена, и эта сторона противоречия мнима. Реальные и опасные черты оно принимает как раз в тех случаях (а их большинство), когда судебная система на общественное мнение не реагирует.

Суды и медиа в общественном устройстве играют роль *органов правды*, которые производят ее в форме, соответствующей их назначению. Но когда «правда, вступившая в законную силу», оказывается в явном противоречии с «правдой общественного мнения» и картины этих двух «правд» расходятся слишком далеко, «массы» теряют доверие прежде всего к суду. В *отношениях журналистики*, в отличие от правосудия, люди участвуют сами, они и создают общественное мнение. Так называемых резонансных дел, в которых эти противоречия выходят на поверхность и лопаются с большим шумом, в общей массе, может быть, не так уж и много (мы не будем углубляться в специальную правовую тему обвинительного уклона в правосудии, ставящую под сомнение всю массу уголовных дел), но именно они привлекают внимание журналистики больше всего. Это согласуется с ее функцией критики и «общественной боли» (см. предыдущую главу), но судьями воспринимается чаще всего как покушение на их исключительные полномочия.

Судьи не могут отказать журналистам в их праве обсуждать решения судов в условиях открытости и гласности правосудия, но обвиняют их в некомпетентности, «заказухе», а порой прибегают и к мерам правового преследования. Однако, переставая быть союзником журналистики и отказывая ей в поддержке, судебная система и сама вскоре оказывается орудием пропаганды. В «Болотном деле» и его постоянно возникающих новых ответвлениях суды выступают уже как медийные усилители, подсоединенные к телеканалам: их задачей не является «производство правды» — их функция состоит в том, чтобы придать телевизионной картинке «законный» и законченный вид. Это гораздо больше телевидение, чем правосудие, но и телевидение здесь не журналистика.

Постоянный спор между журналистикой и правосудием необходим не менее, чем их стратегический союз, чтобы те и другие не перерождались: одни в органы произвола, а другие — в органы манипуляции. Когда «органы правды» не работают, наступает общее отравление общественного организма.

Раз уж нам случилось несколько раз вспомнить здесь Фонд Сороса, расскажу еще один анекдот. По случаю десятилетия деятельности института «Открытое общество» — Фонда Сороса в России в 1997 году решено было издать книжку, и российский директор Фонда Екатерина Гениева предложила написать ее мне. Я познакомился со всеми программами института и дважды встречался с Соросом поздно вечером в его номере в гостинице «Метрополь». Я «отчетливо» (любимое слово покойной, горячо любимой мной Екатерины Юрьевны) видел перед собой двух Соросов: один довольно невнятно отвечал на мои вопросы о благотворительности, а другой, стоило зазвонить одному из лежавших перед ним и тогда еще не виданных в Москве мобильных телефонов, кричал в трубку что-то по-английски о покупке или продаже акций на миллионы долларов.

А у меня был (и есть, к счастью) однокурсник, назовем его Колей, мы с ним еще играли вместе в баскетбол. Потом он стал очень хорошим следователем, а я ушел в журналистику

и написал о большом деле, которое он расследовал в Азербайджане. Потом Коля вдруг оказался генералом КГБ (впрочем, к тому времени это называлось уже как-то по-другому). При этом он всегда был очень порядочный человек и не раз уберегал меня от неприятностей, о которых я могу лишь догадываться. Узнав, что я пишу книжку про Сороса, он попросил почитать рукопись. Пожалуйста — мне не жалко. Потом мы с ним час гуляли по бульвару (разговоров в кабинете генерал не любил), и он меня пытал: что Сорос от нас хочет? Да ничего он не хочет! У него просто денег куча, и он хочет, чтобы у нас тоже все было нормально. Если бы у нас с тобой было столько денег, мы бы, наверное, тоже так делали... Увы, я его в этом так и не смог убедить.

Это было еще при Ельцине, и ни Ельцин, ни Коля еще не знали имени будущего президента, а тот еще сам не представлял себе, где он окажется и какую картину мира станет рисовать подчиненная ему пропаганда лет через двадцать. Я убежден, что мой друг всегда был порядочным человеком — судя по материалам журналистских расследований, сегодня в его ведомстве таких найдется уже немного. Но он был совершенно ангажирован собственной картиной мира.

Мы переходим, таким образом, к вопросу об ангажированности, которая тесно связана с «властью» журналиста и всегда подтачивает ее основание.

ГЛАВА 5. АВТОРСКОЕ «Я» И ПРОБЛЕМА АНГАЖИРОВАННОСТИ

Поскольку журналистика имеет дело с действительностью, журналист, фиксируя чаще всего события, случившиеся в недавнем прошлом, актуализирует их в значении «здесь и сейчас». Любой исторический факт — именно в силу того, что он исторический, — кому-то известен и где-то отражен. Но поскольку журналистика тем «плотнее», чем теснее она касается сфер политического, а то и «военного» («война есть продолжение политики иными средствами»), ей часто приходится иметь место с такими фактами и действиями (ложью, убийствами, подтасовками), которые их участники или просто знающие о них люди хотели бы утаить, сделать «небывшими», по крайней мере в той истории, которая будет записана (объективизирована). Борьба за историю начинается прямо у ее «горнила», а журналист, как историк (*первоисторик*), тут же превращается в важного, хотя чаще всего и косвенного свидетеля, что сразу делает его положение к тому же еще и опасным (об ответственности журналиста как историка мы будем подробно говорить в главе 21).

Эта роль свидетеля вопреки правилам авторской скромности придает в журналистике особое значение местоимению *Я*. Но это «я» не исторического актора, самоуверенного и знающего «как надо», а лишь свидетеля: я (сам) видел, слышал, узнал. Это *отсылка к источнику информации*, которую желательно подтверждать еще и из других источников, но снова через «я», скрепляющее всю конструкцию доказательств.

В собственно журналистском, а не в каком-то другом «отраженном» смысле журналист легитимен только как *историк*. Кто-то что-то ему рассказывает, имея в виду сохранить это в виде летописи тех или иных событий, которые осознаются всеми их участниками как *исторические* или как минимум биографические (что в личностной проекции одно и то же). Функция историка легитимирует и роль журналиста в качестве *парресиаста*, которая в противном случае выглядела бы как роль юродивого, ведь чаще всего власть не реагирует

на факты, вскрытые журналистами, — во всяком случае, не-
посредственно и сразу.

Власть журналиста в рамках конкретных историй, которые он собирает *просто рассказать*, признается всеми их участниками — но лишь в случае, если они уверены в его *неангажированности*. Однако еще прежде всех остальных он и сам должен это ощутить. До того как погрузиться в историю как свидетель, а не участник, надо нащупать опору *самолегитимности*, ведь только она и создает «власть» в виде паррезии или *отложенного права на высказывание* и необходимую для этого уверенность.

Между тем современная философия, почерпнувшая это открытие из квантовой физики и переосмыслившая его как более общий закон, утверждает, что сам факт наблюдения уже изменил ситуацию — оно не может не быть «включенным». При кажущемся абсолютном документализме фотографии «фактор фотографа» все равно уже проявился в том, что он повернул свою камеру именно в эту, а не другую сторону: что-то повлияло на его интерес.

Кинодокументалист Сергей Лозница, осознавая, по-видимому, эту проблему, снял фильм «Майдан» полностью статичной камерой, не меняя даже ее фокус. Неподвижные камеры работали в нескольких точках, но между 15 декабря 2013 и 5 марта 2014 года в кадр попали лица всех тех людей, которые оказывались перед камерой, а не какие-то специально выхваченные. Тем самым Лозница (я так понял) стремился исключить фактор собственной симпатии к участникам Майдана. Впечатление оказалось сильное и далеко не однозначное: если в Каннах фильм был встречен овациями, то в Киеве автор заработал в свой адрес и немало упреков в отсутствии патриотизма.

В «Окаянных днях» — первоначально дневнике, в котором Иван Бунин записывал свои впечатления 1918–1920 годов, он сам себе отвечает на распространенный тогда упрек: «Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно... Это слышишь теперь поминутно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша “пристрастность” будет ведь очень и очень

дорога для будущего *историка*» (курсив мой. — Л. Н.). Хотя о большевиках Бунин писал с нескрываемой ненавистью, он не брал в руки оружия и старательно нащупывает здесь точку *неучастия*. Это позволяет нам отнести его полностью вышедшую только в 1936 году в Берлине книгу к журналистике в той мере, в какой она субъективный, но исторический и точный в смысле наблюдения за событиями документ.

Главное в том чувстве, каким наполнен приведенный отрывок из дневника Бунина, — его осознание ангажированности собственной позицией и поиск выхода из этого тупика. Не скрывая от себя своей ангажированности, он сохраняет тем самым легитимность. В буре истории «у горнила» это та единственная позиция, стоя на которой журналистика может оставаться собой, не скатываясь в пропаганду.

Приходится признать, что журналист всегда ангажирован как минимум на уровне своих представлений о должном и своего интереса именно к данной истории, а от пропагандиста он отличается тем, что сознает свою ангажированность и ставит себя в зависимость от *правил и процедур*, которые заранее ограничивают его в плане будущего высказывания (как Лозница ставит себя в зависимость от неподвижной камеры).

Журналистика выработала целый *набор стандартов*, ориентированных прежде всего именно на описание конфликтов, и приемов журналистского расследования (подробней о них в главе 20). Стандарты, по сути, описывают *мандат*, который журналист получает как автор будущего высказывания. Вместе с тем их соблюдение или несоблюдение укажет нам и на ту дистанцию, на которую данная публикация (газета, передача) отстоит от журналистики или, наоборот, сближается с пропагандой.

Отступление от журналистского мандата может быть сознательным или не (вполне) осознанным, быть продиктовано как материальными, так и, напротив, идеалистическими интересами и мотивами.

Практика, когда материал, оплаченный одной из сторон конфликта, размещается под видом обычной заметки или даже «расследования», узаконена сегодня во многих россий-

ских «СМИ», периодически появляются даже сообщения о ценах и прейскурантах (в декабре 2016 года расследование о расценках на «направление журналиста в суд» вдруг опубликовал портал Life). Это, конечно, позор — но не только журналистики, а вместе с ней и государства, которое, доведя журналистику до нищеты, тратит огромные деньги на пропаганду, выбрасывает их на ветер, закрывает глаза на их разворовывание чиновниками и владельцами «СМИ» (подробнее об этом в главе 18).

Однако проблема *заказухи* разрослась до таких масштабов, а журналистика находится под таким прессом «правоохранительных органов», что само это понятие применительно к медиа требует четкого определения — по аналогии со сложным составом преступления в уголовном праве, чтобы пресечь спекуляции на эту тему со стороны политиков. При описании конфликта журналист может быть ангажирован не только теневым гонораром, но и, например, своим источником информации, который в обмен на ее предоставление рассчитывает на лояльность, а может быть просто неопытным и допустить ошибку, которая обойдется далеко не так же дорого, как судебная. Поэтому при определении «заказухи» в «СМИ» оплата — квалифицирующий фактор, а главный признак — это все же сознательное отступление от журналистских стандартов и искажение фактов в пользу «заказчика», что может быть обусловлено корыстным интересом в той или иной форме.

Но не подпадает ли под эти признаки и политическая пропаганда и только ли «СМИ» и журналисты болеют «заказухой»? Хотя в сфере смыслов коррупция особенно болезненна и отвратительна, сюда она добирается не в первую очередь. В тех «бюджетах», которые ассигнуются на заказные кампании, часть, предназначенная «СМИ», смехотворна рядом с той, что закладывается на проплату действий «правоохранительных органов» и нужных судебных решений. «Заказуха» — общая болезнь «органов правды», и рецепт лечения тоже один — собственно, это правда и есть.

Следующий пример будет чрезвычайно рискованным и снова вызовет ожесточенные споры, которые мне приходится

вести в редакции «Новой газеты», где моим оппонентом чаще всего выступает замечательная журналистка Елена Милашина. Однако сама острота и распространенность проблемы, на мой взгляд, дают мне право этот пример привести.

7 октября 2006 года, когда была убита Анна Политковская, я был на даче, писал какой-то проходной текст. Когда дозвонились друзья, чтобы сообщить о трагедии, я даже какое-то время продолжал писать — случившееся просто не укладывалось в голову. Потом помчался в Москву — помню, пытался таранить по дороге грузовики, не пропускавшие мою «шкоду». После смерти Ани мы все вдруг поняли, насколько она была не только отважной, но еще и очень красивой женщиной. А до этого она была как-то «вся в Чечне». Еще незадолго до ее гибели, когда она заходила в буфет и с порога кричала выпускающему редактору что-то про Чечню, все махали на нее руками: «Уйди, дай поесть спокойно!» Ведь не может вся газета быть про пытки и про Чечню.

После ее смерти «Новая» издала большой том Аниных заметок, написанных в разное время. Среди них я прочел эссе «Аргентинское танго», которое когда-то пропустил. Это было восхитительно и, как танго, виртуозно. У Ани было много разоблачительных и весьма доказательных, четко структурированных текстов. Но то, что она писала из Чечни в последние месяцы и даже годы своей жизни, далеко не всегда было аргументированно, доказательно, продуманно и оточенно. То есть это, безусловно, относилось к журнализму по теме, но не всегда по процедуре и форме. И это была не вина, а беда — и не ее, а страны.

Когда же тут проверять факты и думать о словах, если надо спасти человека? В этом месте журналистика и правозащитная деятельность, которые очень тесно переплетаются в российской традиции, не только сближаются, но и начинают противоречить друг другу. Правозащитник тоже легитимен, и это оправдывает его отклонение от фактов (например, адвокат и по закону не обязан придерживаться их целиком), но это совсем иная природа легитимности. Эти функции нельзя смешивать, хотя на практике и отделять их друг от друга в живом потоке журналистики бывает нелегко. Защита «маленького

человека» имеет в журналистике приоритет, но это не всегда оправдывает несоблюдение стандартов. Пожалуй, оправдывает — но только в самых безотлагательных случаях.

Предметом рассмотрения Общественной коллегии по жалобам на прессу (о ней подробно в главе 20) был случай, когда после катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС хакасские журналисты распространили сообщение о том, что в воздушных пузырях выше уровня затопления якобы остаются живые люди и якобы слышен их стук. Коллегия тогда не согласилась с претензиями руководства станции, ссылавшегося на то, что эти сведения затем не подтвердились. Неточность журналистов оправдывалась тем, что они привлекали внимание общества в надежде спасти людей, и счет шел уже на часы и минуты.

И все же любое пренебрежение стандартами и процедурами, что сегодня становится скорее правилом, чем исключением, для многих «СМИ» означает *злоупотребление «властью» журналиста*. Любое нарушение мандата подрывает легитимность журналиста в качестве историка (а не правозащитника, политика или в любом другом качестве).

Впрочем, об этом легче рассуждать в медлительной судебной журналистике, когда дела тянутся годами, а не на войне (глава 11). Субъективность же свою журналист не скрывает в *суждении*, которому уже в следующем «конспекте» будет посвящена глава 9.

ТЕТРАДЬ II. ОТНОШЕНИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

ГЛАВА 6. ИМПУЛЬС ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ЖУРНАЛИСТСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Мне представляется более правильным сначала дать определение *журналистского высказывания*, чтобы затем обратиться к его отдельным сторонам. В этом определении я описываю некий идеал (как я его понимаю) журналистского высказывания, от которого конкретное высказывание может отклоняться в ту или иную сторону. Те же признаки могут частично характеризовать и другие высказывания, даже вовсе не имеющие отношения к журналистике, и, по сути, они же послужат нам и в дальнейшем, когда мы станем набрасывать воображаемую карту журналистики.

Итак, *журналистское высказывание* — это конкретизированное, отсылающее к фактам, имеющим историческое значение, рациональное, доказательное, то есть и само опирающееся на факты, актуальное критическое (протестное) высказывание, которое производится в расчете на его дальнейшее распространение и обсуждение из некоторой непривилегированной точки — в том смысле, что она не создает никаких преимуществ автору высказывания и не продвигает интересы каких-то других лиц. В определенном смысле это такое высказывание, которое, сформулировав, нельзя не произвести — иначе и остальные его признаки перестают быть значимыми.

Частично об этих признаках (фактичность, критичность) мы уже говорили, а теперь сосредоточимся на тех, что очерчивают круг потенциальных авторов журналистских высказываний и само то пространство, в котором *происходит журналистика*.

В основе классического журналистского высказывания лежит новость, то есть некий факт, имеющий значение

в какой-то цепочке актуальности («истории»). Однако сегодня, когда средствами фиксации фактов вооружены все владельцы смартфонов, а отнюдь не только профессиональные журналисты, источниками журналистских, с точки зрения их содержания, высказываний часто оказываются субъекты, далекие от традиционных медиа.

В августе 2010 года в то время премьер-министр В.В. Путин совершал автопробег на автомашине «Лада-Калина» по маршруту Хабаровск — Чита. К этой желтой «Ладе» было приковано внимание телезрителей всех российских каналов: путешественник нахваливал им машину и перспективы российского автопрома. Однако 31 августа группа любителей внедорожников из читинского клуба «Диверсант», обманув бдительность ФСО, на джипах по бездорожью вышла во фланг автопробегу премьера в десятке метров от трассы.

Результатом стало появление на YouTube снятого телефонным видеоролика, который за несколько дней набрал сотни тысяч просмотров. Его и сегодня может посмотреть всякий, кого не слишком смущает ненормативная лексика, то есть факты сохранены для истории. Из видеоряда понятно, что в кортеже следуют три одинаковые желтые «Лады-Калины», причем последняя — уже сзади, в кузове эвакуатора. Кроме них, в длиннющем кортеже, включавшем в себя джипы охраны, машины ГИБДД и скорой, не оказалось ни одного отечественного автомобиля, что в тот же день в сотнях комментариев обсудили «массы» автолюбителей, исследовавших и оценивших этот кортеж.

Читинские джиперы были далеко не единственными и не первыми, кому этот факт стал доподлинно известен: не считая самого водителя желтой «Лады» (или «лад»), о нем знали все сопровождавшие его в кортеже лица, включая участников съемочной группы, передававших репортажи на центральные и местные телеканалы. Однако, также, несомненно, понимая историческое значение этого факта, они не предавали его гласности.

Есть целые профессии, связанные с молчанием или распространением информации только внутри строго определенного круга лиц, имеющих к ней допуск. Обязательство

неразглашения информации может быть связано также с обстоятельствами, при которых она стала известна. Однако журналистская профессия предполагает, что всякий значимый факт должен быть предан гласности, и, более того, чем тщательнее такой факт скрывается, тем интереснее он для журналистики и тем ближе относится к ее *ядру* (тут мы завязываем разговор о картах журналистики, нить которого будет проходить через многие главы этой книги). Разумеется, из этого общего правила могут быть и исключения (охраняемые в специальном режиме тайны или информация, обнародование которой может влечь риск для людей), но история с желтой «Ладой» явно не тот случай.

Нас здесь больше интересуют не «журналисты» из кортежа, а любители праворульных японских джипов из Читы: хорошо понимая, что *разоблачают* чью-то — да не «чью-то», а в том числе самого Путина — тайну, они тем не менее выложили ролик на YouTube. По репликам, которые слышны, можно догадаться, чей это электорат и что цель опорочить водителя желтой «Лады» никто не ставил. Едва ли авторы думали и о тех минутах славы, которую они, безымянные для большинства аудитории, заслуженно снискали. Свой разовый подвиг журнализма они совершили из *желания высказаться*, которое оказалось тем нестерпимее, чем гуще была ложь на каналах федерального телевидения. Импульс этого высказывания в совокупности с признаком исторической значимости и доказательности и определяет это высказывание как журналистское.

За содержанием, которое всякий раз разбухает, словно тесто на дрожжах, и становится все более сложным: обрастает подробностями, аргументами и доказательствами, вообще контекстом, а затем еще и комментариями, постараемся не терять из виду этот *импульс*, который есть самые дрожжи журналистики. Это даже не мотив, который предполагается долгие зреющим и всегда более сложным, а мгновенный импульс: «Не могу молчать!» Разбегаясь волнами по смысловому пространству, *он характеризует журналистику в гораздо большей степени, чем само содержание высказываний.*

По сравнению со случайным высказыванием любителей внедорожников большая часть того, что мы найдем в сегод-

няшных российских «СМИ» (анализ их «контента» будет дан в главе 18), окажется менее полнокровной и в меньшей степени наполненной журнализмом. Зато субъекты, далекие от профессиональных медиа, сегодня могут производить высказывания, которые, по сути, приближаются к журналистским или даже оказываются таковыми в полной мере.

Приняв этот импульс высказываний как один из главных источников журнализма, мы сопоставим его теперь с кругом всех тех обычных обязательств, которые характерны для профессиональной журналистики. Как род профессиональной деятельности, она включает в себя целый ряд различных последовательных, рутинных и длительных операций, часть которых ранее перекладывалась на «СМИ». Главной заботой журналиста до последнего времени были, пожалуй, следующие действия: 1) обнаружить факт (надо знать, где его искать, в том числе располагать источниками информации); 2) определить, насколько этот факт значим и стоит ли овчинка выделки; 3) зафиксировать факт; 4) доказать его, то есть зафиксировать еще и доказательства; 5) более или менее удачно описать (показать) факт, а также его доказательства; 6) интерпретировать факт, встроив его в определенную цепочку актуальности; 7 и 8) опубликовать и распространить эти сведения.

Примерно так это выглядело еще лет пятнадцать назад, и до распространения социальных сетей журналисты обычно совмещали в одном лице разные специализации, хотя чаще всего в разной мере обладали необходимыми для них качествами. Интернет и социальные сети все это спутали: отдельные (из перечисленных) действия могут производить, часто не понимая их значения, субъекты, далекие от профессиональной журналистики. Мы только что видели это на примере любителей внедорожников, которые лишь зафиксировали факт (правда, тем самым и гарантировали его подлинность), а остальное за них доделала сеть. В сети становится возможным браться и за серьезные расследования, не умея описывать их результаты, или наоборот, заниматься, в том числе систематически, интерпретацией

фактов, обнаруженных кем-то другим. Это открывает широкий доступ к родственной деятельности непрофессионалам — и хотя чаще они рожают только «полуфабрикаты», их роль в журналистике оказывается сопоставима с ролью профессиональных медиа.

Новые возможности привели не только к разделению труда в журналистике (особенно на технически сложном телевидении), но и к появлению в этой сфере большого количества *сырья*, более или менее готового к «журналистскому употреблению». Джулиан Ассанж в 2006 году создал ресурс WikiLeaks (leak — утечка, *англ.*), который только за первый год своего существования собрал, по свидетельству Ассанжа, 1,2 млн копий секретных документов, предоставленных 1200 волонтерами. Большая часть их не отвечает критериям надежности, но нас интересует даже не Ассанж, у которого могут быть разные мотивы, а волонтеры. Мы не знаем, кто они и сколько их, но эти активисты, которым с помощью специальных технических приемов гарантируется полная анонимность, тем не менее движимы, по-видимому, импульсом высказывания. Тем более это относится к Эдварду Сноудену, чье нежелание молчать было вызвано возмущением нарушениями законов и двуличием правительства его собственной страны.

«Золотое перо» Союза журналистов России за 2014 год и премия «Политпросвет» за 2015 год были вручены журналисту Сергею Пархоменко за проект «Диссернет». Но сам он скорее фронтмен проекта, а механизмом стала компьютерная программа, которую разработал физик Андрей Ростовцев (его докторская была посвящена теме «Экспериментальное исследование адронных взаимодействий фотона с помощью детектора H1 на ускорителе ГЕРА») в соавторстве с Андреем Заякиным и другими учеными. Программа фиксирует заимствования при сравнении текстов депонированных диссертаций, результатом же деятельности «Диссернета» стало *разоблачение* десятков депутатов Государственной думы, министров, судей, прокурорских работников, преподавателей и ректоров вузов, а в некоторых случаях и лишение их незаслуженных ученых степеней.

Проект «Диссернет» не является журналистским в собственном смысле слова, хотя генерируемые им «полуфабрикаты» про лжекандидатов и докторов наук мгновенно «обрастают» журналистикой. В его основе лежит импульс протестного высказывания (притом что оно само уже далеко не «импульс» — оно сложное, включающее в себя не только факты, но и тщательно собранные доказательства), и это превращает любой такой проект в ближайшего родственника журналистики, во всяком случае в ее «донора».

Из появления в последнее время по всему миру большого числа таких проектов вряд ли правильно делать вывод, что они — прямой результат цифровой революции. Технический прогресс лишь шире открывает двери для *импульсов высказывания*, которые прежде не могли реализовать себя в виде «полуфабрикатов» и в таких масштабах. Вряд ли тут можно говорить и о «ценностной революции» — росте равнодушия, которую увидела за этим явлением создатель Transparency International Russia Елена Панфилова. Точно такое же равнодушие неравномерными вспышками возникало во все времена и повсеместно, но прежде, не имея собственных каналов для высказывания, протестанты не могли пробиться в публичную сферу так широко и массово, как сегодня.

С подобными же проектами соседствуют и другие, отличимые от тяготеющих к журналистике лишь на уровне мотивов. Так, в интернете появилось множество сайтов, сделанных по типу «компромата», где журналистские высказывания соседствуют с такими, которые скрыто или даже явно продвигают чьи-то интересы. После арестов в начале 2017 года активистов группы «Шалтай-Болтай» мы понимаем, что те мотивы, которые сначала казались нам (правда, не без некоторых сомнений) журналистскими, оказываются корыстными, то есть эти высказывания продвигают чьи-то интересы и не отвечают признаку «непривилегированной точки» или журналистского невмешательства.

Кроме передачи «сырьевой фактуры» в сеть, многие тысячи пользователей строчат там же комментарии, тысячи авторов ведут блоги, многие из которых даже более посещаемы, чем сайты традиционных медиа. О качестве этого «контента»

мы будем говорить отдельно, но пока констатируем, что вся эта масса разнородных высказываний предположительно объединяется импульсом «Не могу молчать!» (не хочу молчать, хочу высказаться, выскажусь — и будь что будет), а это тот же корень, из которого растет и журнализм. Но в том же пространстве действуют и «тролли», отличающиеся от обычных (добросовестных) участников коммуникации лишь внутренней мотивацией.

Высказывания, конечно, могут выражать и чувства восхищения и любви. Например, сложное высказывание этой книжки — объяснение в любви к журналистике, однако для нее самой это чувство не так характерно. Журналистика скорее играет в обществе ту же роль, что боль в организме: она сигнализирует, что в общественном организме что-то нездорово. Героем в журналистике также чаще становится тот, кто борется с кем-то или чем-то более сильным, — отсюда название когда-то популярного журналистского конкурса «Вопреки» (имени одного из первых убитых в России журналистов — Ларисы Юдиной).

Тогда на первый план выдвигается такой признак, как оппозиционная направленность, характерная для журналистского высказывания (хотя и «тролль» может маскироваться под оппозицию для каких-то нежурналистских целей). Критичность — естественное свойство журналистики, это вытекает из того, что, когда все идет нормально и правильно, импульс для высказывания по крайней мере слабее, чем когда «что-то не так». (Здесь вспоминается анекдот про английского принца, которого до четырнадцати лет считали немым, пока он не спросил у слуги: «Вы с какой стороны нож положили?» Ура, он заговорил! «А что же вы до сих пор молчали, ваше высочество?» — «Так до сих пор меня все устраивало».)

Протестный импульс может получить выражение и на других языках высказываний, журналистика только один из них. Этот язык очень важный и нужный, хотя и не самый громкий и мощный; например, язык забастовки может звучать громче, зато тихий голос литературы — дольше. Импульс может не воплотиться в высказывание, если по каким-то

причинам (чаще всего из опасения последствий) оно проглочено, но может и притаиться, ожидая подкрепления аргументами или просто чтобы появиться в нужное время.

Первыми с губ срываются эмоциональные высказывания, они редко бывают сложными, а более сложные, осмысливающие исторические события, появляются спустя время. Но наряду с журналистским высказыванием о фактах возникшая лавина тащит с собой слухи и домыслы, и журналистика не всегда различима в них: факты уступают место эмоциям, и более популярной становится «дурная публицистика». За репортажами, которые содержат неточности, последует вторая волна более вдумчивых комментариев, а на горизонте уже замаячил Лев Толстой, который спустя годы напишет «Войну и мир».

Волна общественного несогласия или недовольства (согласие, к сожалению, не несет сопоставимой энергии) может также принимать форму публичных акций и демонстраций, требования которых внятно не артикулируются — журналистика идет следом и старается извлечь из этих высказываний какие-то более ясные смыслы. Значение таких акций может быть очень разным, но некоторые из них, тиражируемые с помощью интернета, достигают масштаба, с которым не могут не считаться традиционные медиа, в том числе те, которые в рамках своей редакционной политики предпочли бы их не заметить.

Панк-молебен группы Pussy Riot 21 февраля 2012 года или поджог Петром Павленским парадной двери ФСБ 9 ноября 2015 года стали мощными протестными высказываниями, породившими бурю в журналистике, но их собственная природа ей только родственна. Такие акции рассчитывают на эхо журналистики и, если удаются, сразу им «обрастают»: акционисты назначают себя ньюсмейкерами, и журналистика в виде растянутого шлейфа следует за ними тем дальше, чем неадекватнее оказывается реакция на них властей (хотя распространение волн зависит и от проводимости среды).

В современном информационном мире журналистика оказывается и сама погружена в этот хаос стимулов и реакций, искренних или нет, и теперь ее роль заключается как раз

в том, чтобы из него выбраться. Тогда на первый план выдвигается такой признак именно журналистского высказывания, как его *рациональность*. Журналистика старается как-то упорядочить эту кашу, и здесь преимущество возвращается к профессиональным медиа с их более опытными кадрами и соответствующими структурами.

Журналистика, *проговаривающая события*, иногда рождает, иногда поддерживает, но всегда сопровождает более общую волну, на гребень которой ее поток выносит наиболее плотные и различные, внятные элементы. Это как бы галька, выплескиваемая волной на берег и остающаяся там какое-то время, так что становится возможным рассмотреть ее уже более пристально. Но между журналистскими высказываниям «на том же берегу» мы обнаруживаем и другие, даже еще более плотные элементы — это *сообщения* власти, которые оказываются внешними по отношению к дискурсу *событиями*.

Приговор суда по делу Pussy Riot, провозглашенный 17 августа 2012 года (знаменитая «двушечка»), тоже оказывается в этой цепочке актуальности каким-то... но нет, все же не высказыванием. Развитие истории сопровождается различными *сигналами*, которые прочитываются только в ее более широком контексте. 12 сентября, менее чем за месяц до рассмотрения дела Pussy Riot в апелляции, Дмитрий Медведев высказался в поддержку условного приговора, но за три дня до апелляции Владимир Путин одобрительно отозвался о реальном лишении свободы, и 10 октября Мосгорсуд заменил в отношении одной из участниц группы реальный приговор на условный, оставив его неизменным в отношении двух остальных. Это *сообщение*, которое появилось тут отнюдь не на равных.

До сих пор высказывания различных субъектов, известные из разных источников, сталкивались только горизонтально. А приговор и реплики первых лиц ни с чем не конкурируют, сами не участвуют в вихре обсуждения и «уже не обсуждаются» в смысле их окончательности. Так, два не связанных с лишением свободы приговора Павленскому могли бы рассматриваться как сообщение о некоторой

разморозке, если бы за ними не угадывалось более разумное, чем в истории с Pussy Riot, нежелание власти давать повод для новой волны критической рефлексии.

Нам остается понять, что представляют собой в вихре высказываний публичные акции не против, а в поддержку власти или декларируемых ею ценностей, которым часто также придается форма протеста. Такова, например, акция «Офицеров России», в сентябре 2016 года заблокировавших выставку фотографий в Центре братьев Люмьер. Речь не о том, что протестовать, ощущая себя большинством при невмешательстве полиции, не то же самое, что выходить на пикет против действий власти, и даже не о том, что никто не имеет права на такую форму высказывания, как обливание чего бы (и кого бы) то ни было мочой (зеленкой). Но на само-то высказывание, не правда ли, эти субъекты имеют такое же право, как и те, кого они обливают зеленкой?

Нет, чтобы отнести эту акцию к высказываниям, нам чего-то не хватает, и не в плане содержания этой акции, а в плане ее *импульса*. Журналистика, выполняя свою работу по сокрушению симулякров, исследует ряды участников такого рода акций и источники их финансирования и устанавливает, что они чаще всего не спонтанны: их импульс кем-то задан, прямо или косвенно проплачен, то есть мотив, приведший этих ньюсмейкеров на их акцию, не является на самом деле импульсом высказывания.

Мы нащупали еще одно важное свойство высказывания: оно *спонтанно, оригинально* — не в том смысле, что нечто высказывается впервые, оно может быть даже и повторено, но *от первого лица*, то есть это не заимствование. А имитация — это всегда цитата, и в этом смысле постановочная акция оказывается симулякром, в ней нет того драйва настоящего высказывания, который способен породить столь же спонтанную ответную волну.

Ответ — это и есть в некотором смысле главный признак высказывания, отличающий его не только от однонаправленного сообщения, но и от провокации (которую не следует, в свою очередь, путать с нарочитой провокационностью оригинального высказывания).

ГЛАВА 7. ЖИЗНЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ: КОММУНИКАЦИЯ И ДИСКУРС

Младенец кричит, появляясь на свет, кот мяучит — всему живому свойственно заявлять о себе и протестовать против условий своего существования, то есть высказываться. Если мы не играем в покер или не занимаем каких-то важных постов, нам свойственно даже сначала высказываться, а потом уже думать, и в этом пока еще нет ничего дурного, даже эгоизма. В конце концов, мой труд по написанию этой книжки тоже не преследует какой-то специальной цели, в нем нет ничего, кроме желания высказаться — потому что я думаю, что мне есть что сказать.

Тот, кто не высказался, и все, что кем-то не высказано, остается вещью в себе — в этом плане высказывания и есть жизнь в ее проявлениях. Но высказывание — это еще только *оферта коммуникации*: если оно не рассчитывает на *акцент*, то бессмысленно само по себе. Глас вопиющего в пустыне — и тот обращается к Небу. Даже кошка на своем языке претендует на то, чтобы быть понятой, хотя мы не всегда умеем понять ее, как и она нас.

Удачное высказывание, попавшее в публичную сферу, начинает жить в ней какой-то собственной жизнью, которую определяют в том числе и случайные факторы. Эта жизнь высказывания есть *коммуникация*.

Конечно, не «информация» или не она в первую очередь образует движение в сфере смыслов. Здесь обращаются высказывания, которые могут быть больше или меньше нагружены информацией, а могут быть и не нагружены ею вовсе. В том или ином качестве и объеме она наполняет сообщение, как воздух надувает мячик, но, чтобы все пришло в движение, кто-то еще должен пнуть этот мячик ногой, придав «информации» энергию высказывания. Эта энергия заставляет высказывания сталкиваться и сцепляться друг с другом — в отличие от сообщений они живы, пока находятся в движении.

Поэтому, в частности, королем журналистики при всех изменениях его формы остается очерк, а он тем лучше, чем

живее его персонажи сходят с экрана или с газетной полосы во всех своих случайных чудачествах и противоречиях. Какая здесь «информация»? Она не представляет практической пользы, ее тут не больше, чем в художественном фильме, с той лишь разницей, что очерк заставил нас сочувствовать реальному, а не вымышленному лицу. Хотя ему это сочувствие, может быть, и не нужно, но это и есть сцепление — процесс пошел.

Высказывание всегда энергично, как подача в спорте. Это всегда какой-то текст (не обязательно буквами), но еще и желание *поделиться* и предложение что-то обсудить. Оно лично и, даже сделанное под псевдонимом, в анонимной (как на сайтах типа WikiLeaks) или коллективной форме, всегда, в отличие от нейтрального сообщения, несет в себе в виде авторского мотива энергию той «подачи», которая предполагает и, в случае удачи, порождает коммуникацию.

Высказывание всегда так или иначе *перформативно*. Понятие перформатива впервые сформулировал философ языка Джон Остин (1911–1960, Англия). С одной стороны, оно становится следствием некоторого намерения субъекта, а с другой — содержит «призыв», приглашение, предложение что-то изменить; оно и само уже что-то неумовимо изменило в действительности как «времени действия» (хотя часто не совсем так или даже совсем не так, как рассчитывал субъект высказывания).

Если сообщение не преследует цель коммуникации, оно не становится высказыванием, а остается лишь «информацией», как железнодорожное расписание. Яркое и по видимости энергичное, даже навязчивое рекламное объявление тоже не оказывается тем не менее перформативным: оно содержит коммерческое предложение, но ничего не изменило в смысловой сфере. Этому признаку не отвечают и сигналы в виде выступлений первых лиц или официальных заявлений: они могут обсуждаться и часто горячо обсуждаются, но их авторы остаются вне круга данной коммуникации, а для ее участников эти сообщения власти ничем не отличаются от прогноза погоды. Публикация таких заявлений в «СМИ» может в какой-то степени выполнять роль пропаганды, но имеет

к журналистике такое же отношение, как размещение в газете текстов законов (некоторые из них, такие как «закон Яровой», тоже меньше рассчитаны на реальное применение, а больше выполняют именно и только роль сигналов — но это уже наука права, а я из нее ушел).

В коммерческом и любом другом смысле социальные сети эксплуатируют не столько потребность людей в информации, сколько их желание высказаться. «О чем вы думаете?» — лукаво спрашивает «Фейсбук», предлагая поделиться мыслями с друзьями. Друзья, или френды, здесь *множества*, или *неопределенный круг лиц*, которых вы не знаете, но, производя высказывание, исходите из того, что оно может показаться им интересным и, возможно, они даже расшарят его в круг еще более широкий и неопределенный. Не так наглядно, но, по сути, то же самое всегда происходило и в газете, и в телепередаче: хотя «лайки» тут не отмечаются галочкой, возникают те же самые *отношения* коммуникации. Даже если кто-то активно не приемлет содержание чужого высказывания, это тоже какой-то ответ в смысле *замыкания коммуникации*.

Юрген Хабермас (р. 1929, Германия), здравствующий классик франкфуртской школы, определяет эти отношения как *публичное резонанство*, что весьма точно, если не брать во внимание часто придаваемый этому слову насмешливый оттенок. Исследуя прежде всего *публичную сферу* как область артикулируемых интересов, в первую очередь *частных лиц*, Хабермас уточняет термин *публика* — который в нашем рассуждении совпадает с понятием «множеств». Это круг лиц, поименно не известный, но определяемый самой целью и характером высказывания. «Публика» отличается от толпы или «массы» тем, что внутри нее каждое частное лицо, пусть даже вовлеченное в общее действие и заразившееся общим для всех настроением, сохраняет разумную автономию, позволяющую ему выносить собственное *суждение* (см. главу 9).

Как коммуникация журналистика разворачивается в публичном пространстве, хотя сам акцепт коммуникации, как правило, еще не публичен. Утром город проснулся и включил телевизоры (компьютеры), чтобы узнать результаты голосования, итоги которого были подведены ночью. Однако уже

следующим шагом каждый найдет и прочтет комментарии о ходе голосования и прогнозы относительно того, как это повлияет на жизнь города. Это несколько разных операций, и лишь первую можно целиком свести к поиску информации. Далее субъекты уже вступают в процесс обмена перформативными высказываниями, они оценивают чужие, они сформулировали и свои собственные, пусть даже большинство из них по разным причинам оставило их при себе, и превращаются в *публику*.

Здесь важно констатировать тот простой факт, который отнюдь не кажется очевидным: журналистика рождается лишь *в момент акцепта коммуникации*. Пока не запущен этот обмен, она, собственно, еще и не начиналась. Газета, которую никто не прочел, это то, во что заворачивают селедку. Передача, которая идет как фон на кухне, для завтракающих там только шум. Мы еще будем говорить о тиражах газет, которых никто не читает, но сейчас нам важно понять, что журналистика *случается* не в газете и не на экране, где была заявлена только публичная оферта — предложение коммуникации, а *в общественном сознании*, где-то в головах, или в *ноосфере*.

Если с некоторым допущением еще можно признать существование искусства для искусства или, например, современной музыки для узкого (определенного) круга лиц, то журналистика всегда обращена к неопределенному кругу лиц, причем этот круг *всегда стремится к расширению* — в этом показатель даже не успеха (в смысле популярности), а самого намерения журналистики. Конечно, есть и специализированные ниши, и любители кроликов не слишком интересуются политикой, но расширяющаяся и не вполне определенная аудитория, *публика*, — это вторая и необходимая часть *отношений журналистики*, без которой последняя лишается смысла, причем эти отношения могут развиваться затем и сами по себе, уходя все дальше от породившего их высказывания.

Все люди обсуждают картину мира вокруг себя и с кем-то ею делятся, мы все так устроены. Объяснение можно найти в биологической или социальной эволюции, но нам важно

само это свойство: человек как-то объясняет все, что случается, себе и другим. То же самое происходит — по мере того как индивид взрослеет и становится членом общества — и в *социально-политической проекции* общей и индивидуальной картины мира.

Всякое высказывание всегда фрагмент этой динамической картины, часть какого-то *дискурса*, продолжение процесса, не имеющего, строго говоря, ни начала, ни конца. Термин «дискурс» многозначен и не всегда четко определяется, но нам он понадобится в том значении, какое ему придает Мартин Хайдеггер. Конструируя свой чертов Dasein как «жизнь», погруженную в «мир», Хайдеггер наблюдает, как «жизнь» пытается разобраться в «мире». Это, конечно, трудно, «мир» все время куда-то уезжает, он еще расплывчат и вовсе не собирается отвечать «жизни» взаимностью: вот появился ребенок — откуда и что он может знать? Получая какие-то поначалу невнятные сигналы от «мира», «жизнь» начинает потихонечку строить *тексты о себе самой, проговаривать самое себя* и таким образом и постольку понимать «мир». Это и есть дискурс — как бы вращающееся веретено, с помощью которого мы постоянно прядем нить собственной сознательной жизни. Это не состояние, а процесс и задаваемая самим веретеном траектория этого процесса. То же самое происходит и с *нацией* в социально-политической проекции: ведь и десятилетний ребенок в каком-то смысле тоже еще «полуфабрикат» и только «проект самого себя».

В такой интерпретации *дискурс* близок к *рефлексии*, но у него несколько иные характеристики. В отличие от рефлексии дискурс энергичен, не топчется на месте и не впадает в депрессию: закрепляя пройденный путь в им же выработанном понимании, он тем самым прокладывает себе дорогу дальше, хотя в определенной мере и лишает себя возможности вернуться к прежним развилкам.

Как процесс, происходящий в сознании (индивидуальном или общественном), дискурс в итоге обращен внутрь, замкнут на себя и развивается в том смысле, что он лишь сам себя и развивает, а в результате индивиды и сообщества все время становятся чем-то другим и время от времени

совершают какие-то *действия*. Их сознание меняется, но речь идет об одних и тех же его субъектах. Внешние *события* (в том числе *действия*) могут задавать новые дискурсы и менять их направление, их субъекты изменяются в себе, но — не меняются. Присоединение к России Крыма (или его аннексия, это уже вопрос внутри более общего дискурса) сильно изменило и даже раскололо российское общество, но оно *то же самое*, а не какое-то другое. В интересующем нас плане изменился лишь дискурс, хотя с точки зрения его собственной траектории такое *событие* уже необратимо.

Журналистика как механизм производства *текстов* — это важнейшая и необходимая часть *публичного дискурса*, без которого общество перестает понимать самое себя. Журналистика распадается и на различные самостоятельно существующие дискурсы, в которые включаются отдельные «читатели» (прорабатывающие тексты), общественные структуры, институты и — реже — власть. В процессе *отношений журналистики* общество, проговаривая самое себя, устанавливает *конвенции*, понятия (в том числе и «понятия»), *паттерны* поведения и *фреймы* — рамки восприятия, которые успели сформироваться внутри пройденного отрезка дискурса.

Власть, которая по определению является объектом журналистской критики, с одной стороны, не различает ясно этого *пространства журналистики*, продолжая считать, что сам факт появления ее «говорящих голов» на экране или в газете производит необходимый эффект пропаганды, а с другой стороны, старается плотнее контролировать дискурс, чтобы упредить критические высказывания.

Распространенным остается взгляд на журналистику как на обратную связь (с точки зрения центров принятия решений). Чтобы получить адекватную обратную связь на основе чужих высказываний, пришлось бы на самом деле учесть «их все», что в рамках своих выборов пытаются делать социологи, но что невозможно методом «обзора прессы». Но главная и опасная ошибка такого определения журналистики состоит даже не в этом, а в том, что понятие обратной связи бессмысленно с точки зрения дискурса, ведь в нем все связи переплетены и в каком-то смысле «обратные».

Природа дискурса, не выходящего за пределы сознания, такова, что он не может быть истинным или ложным сам по себе — *он может только быть или не быть*. А правильными или неправильными — с точки зрения их результатов — окажутся поступки и *действия*, например присоединение Крыма. На самом деле мы никогда не можем знать, были ли наши действия правильными или неправильными, поскольку не знаем, как развивались бы события, если бы мы поступили иначе. Мы можем судить в том числе о собственных действиях (и о действиях наших политиков, которые становятся «нашими» в рамках сообщества) только как о более или менее обдуманных или необдуманных. Но это снова возвращает нас к дискурсу, который данному действию (событию) предшествовал или не предшествовал.

ГЛАВА 8.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ В РОЛИ СОБЫТИЯ

Всякое замыкание коммуникации само по себе есть микро-событие в ноосфере. Но если такое мгновенное замыкание однонаправленно происходит с участием «множеств», может возникнуть цепная реакция, и тогда происходит *Событие с большой буквы*.

30 октября 1938 года в эфире радио CBS (США) прозвучала первая часть постановки по роману Герберта Уэллса «Война миров», в ходе которой очень удачно имитировалось реальное нападение марсиан на Землю. Около одной пятой из примерно 6 млн слушателей поверили в реальность происходящего, и началась настоящая паника. Это *событие*, само по себе не имевшее отношения ни к реальности, ни к журналистике (вначале слушателей предупредили, что «факты» вымышлены, но часть пропустила анонс мимо ушей, а кто-то включился только на середине), уже на следующий день было восстановлено репортерами и отрефлектировано комментаторами газет, благодаря которым эта история, собственно, и получила историческую достоверность.

Проблема паники, которая тем легче может быть спровоцирована сообщениями о действительных фактах (чаще всего при стихийных бедствиях), известна в журналистике; возможно, это одно из немногих оснований, ставящих журналиста перед необходимостью какое-то время не обнародовать достоверно установленные им факты. Но этот пример ставит перед нами и другой вопрос: что такое событие и можно ли рассматривать данный исторический факт — панику 30 октября 1938 года — как событие? Да — в том смысле, что это исторический факт. Нет — в том смысле, что его последствия были некоторым образом сразу же купированы и оно не повлияло на дальнейший ход исторических событий.

Но можно повернуть эту историю еще и следующей стороной: некое событие (здесь неважно, реальное или мнимое) на время сводит массы людей с ума. Это вызвано той стремительностью, которая не оставила им времени для его осмысле-

ния, обсуждения, проговаривания, определения собственного места в нем, — в результате началась паника. Но вот на сцену выходит журналистика, которая исследует и быстро и трезво оценивает это событие как мнимое, и все встает на свои места.

Но таким же стремительным и неожиданным для российского общества событием в марте 2014 года стало и присоединение Крыма. Мы не обсуждаем, были эти действия власти правильными или нет, возможно, например, с военно-стратегической точки зрения и правильными. Но мы говорим о том, что событие, коренным образом изменившее весь дискурс и даже состав российского общества, во-первых, совершилось вне дискурса, предшествовавшего ему; во-вторых, не было сразу же осмыслено трезвой журналистикой, которая для большинства участников нового дискурса оказалась заменена пропагандой.

Власть может участвовать в дискурсе или не участвовать, а только генерировать в нем события в виде внешних сигналов и сообщений. Умный политик старается участвовать в дискурсе, хитрый — уводить его в сторону, подменяя его предмет. Однако решение власти, принятое вне дискурса, может оказаться верным или неверным лишь с точки зрения какого-то ближайшего его результата. А в чуть более отдаленной перспективе неминуемо «неправильным» — нездоровым, безумным — окажется состояние самого общества. Все, что не проговорено и не понято, так или иначе еще даст о себе знать.

Процесс взросления нашего «ребенка» характеризуется тем, что он, с одной стороны, набирается ума, а с другой — дискурс, продолжая свое вращение, наматывает на себя все подряд: и то, что было на самом деле, и то, чего не было, — сказки, мифы, симулякры. Что-то беспрерывно происходит и «в мире», и «с жизнью», «означающие» и «означаемые» теряют связь друг с другом и начинают путаться. Это бешеное вращение и само по себе кружит голову, а если при этом власть подменяет лекарство журналистики опьяняющей мутью пропаганды, то болезнь может зайти опасно далеко.

12 июля 2014 года в эфире Первого канала некая Галина Пышняк, якобы мать и жена ополченца, рассказала

миллионам зрителей жуткую историю про распятого в городе Славянске трехлетнего мальчика и его маму, которую «укрофашисты» якобы таскали по площади, привязав к танку. Впоследствии Первый канал признал, что у «журналистов» не было доказательств, подкрепляющих этот рассказ, притом что, будь эта история правдой, в многолюдном Славянске их просто не могло бы не оказаться. Возможно, эта женщина была провокатором или сумасшедшей — нас интересует не это, а то, что «факт», которого в действительности не было, становится тем не менее *событием в рамках дискурса*.

Это было бы невозможно в обществе, сохраняющем *коммуникативный разум* (на чем мы еще подробно остановимся в главе 12). Данное «событие» произвела не журналистика, чьим неизменным признаком является проверка фактов и подкрепление их доказательствами, — она, напротив, выполняет свою работу и устанавливает, что таких доказательств нет. Тем не менее *событие произошло*: высказывание Пышняк широко обсуждается, оно меняет температуру и до какой-то степени само направление дискурса, какие-то добровольцы под его влиянием записываются в ополчение и едут в Донбасс, в последующих интервью некоторые ополченцы будут ссылаться на этот «факт», называя его «последней каплей, определившей их решения».

По закону *симулякра*, генерирующего обратные последствия в онтологическом ряду, постановка оказывается *Событием*. В то же время, что не высказано (не названо, не отмечено) — того и не будет в дискурсе: *замалчивание значимых событий* — один из приемов пропаганды. Событие может присутствовать в одном дискурсе и отсутствовать в другом, или в одном дискурсе его значение будет преувеличено, а в другом наоборот. Интересно сравнить, как одну и ту же демонстрацию показывают (даже по картинке, не говоря уже о закадровом тексте) на федеральных телеканалах и на канале «Дождь».

Журналистика и пропаганда оказываются не просто эхом событий — они их генераторы, и подчас высказывание становится даже более значимым рядом с тем, что стало теперь только основанием для него. Те, кто постарше, помнят статью некой преподавательницы Нины Андреевой «Не могу

поступиться принципами», опубликованную в газете «Советская Россия» 13 марта 1988 года, равно как и ответ на нее секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева в «Правде» от 5 апреля. Между этими двумя событиями страна затаила дыхание, и не было, наверно, взрослого человека, который не понимал бы их значения. Если бы не было первого высказывания, возможно, не было бы и второго, и вся история СССР могла бы пойти по-другому. (При этом «история не имеет сослагательного наклонения» — эту фразу, ставшую едва ли не поговоркой, я написал, не помню уже по какому поводу, в «Комсомольской правде» где-то году в девяностом.)

Высказывание как событие порождает цепную реакцию других высказываний, которые тоже могут достигать (или не достигать) значения событий. Событием может стать сумма высказываний, если масса их оказывается значительной. Выход большого числа людей на улицу оказывается важным событием, а для каждого из вышедших сам этот выход тоже высказывание, хотя и не в форме текста, — так работает механизм «цветных революций». (К слову, Великая — но впоследствии не социалистическая — Октябрьская революция без всяких социальных сетей развивалась по тому же самому сценарию и была «красной».)

Параллельно таким *событиям-высказываниям* продолжают происходить и другие, в том числе природные, события, независимые от общественной воли или согласия. Так, в те же годы перестройки событиями (которые начали попадать на страницы печати, а затем и на телеэкран) стали полное исчезновение продуктов из магазинов и катастрофа на Чернобыльской АЭС. Но и выход на экраны фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе тоже стал не только «событием культуры». Решение достать его с полки, на которую он был обречен советской цензурой, принималось на политическом уровне и с пониманием того, к каким последствиям это событие может привести, оказавшись в одной лавине с другими подобными же высказываниями. Такого рода события-высказывания подхватываются другими высказываниями, удваиваются и возводятся ими в степень, хотя их смысл при этом может и значительно изменяться, и искажаться.

Притом что факты — это как бы элементарные частицы и кирпичики любого события, их самих оказывается невозможно рассмотреть иначе, как через призму события, то есть, по сути, уже ретроспективно. Это связано с тем, что историческое событие, происходящее всегда одновременно в смысловом пространстве как *медиасобытие*, при самом своем рождении уже окрашено оценками его участников и даже наблюдателей, придающими событию тот или иной (новый по отношению к самим фактам) смысл, а дальше — больше: в ноосфере всегда происходит какая-то мифологизация исторического события.

Факт — это то, что можно сразу зафиксировать как *новость* (если он доказан), но можно и наоборот: разматывая дискурс назад, обнаружить как сухой остаток им же взбаламученной сложной коммуникации. Как только участниками коммуникации данная новость начинает осмысливаться, к ней тут же прилипают их прежние знания — истинные или ложные, а в еще большей степени *ценности*. На факт наращивается «коралловый миф», но, когда и если удастся произвести деконструкцию, под этим слоем обнаруживается все тот же факт (или его отсутствие, что тоже факт). Если журналистика новостей состоит в добросовестной, по возможности, фиксации фактов, то расследовательская журналистика и анализ стараются разложить события, где уже сплелись «означающие» и «означаемые», в обратной последовательности на элементарные частицы фактов.

Ценности, как объясняет нам социолог Элла Панеях, «это что-то, в соответствии с чем тебе надо поступать вне зависимости от того, что тебе за это прилетит... Английское “Beliefs” чаще переводят как “убеждения”, но это убеждения не в том смысле, что я, к примеру, либерал. Это наши убеждения о том, как устроен мир». То есть это наш (и «их») миф об онтологии, хотя о *фактах*, если удастся вернуться к ним, все еще можно спорить.

Значит, если мы (к примеру, либералы) признали, что участник Майдана может быть мотивирован как чувством протеста, так одновременно и «печеньками» (но важно, какой фактор является определяющим), то такой же подход мы должны

распространить и на Дмитрия Энтео (Цорионова), громившего выставку Вадима Сидура в Манеже в августе 2015 года, и на активистов НОД (Национально-освободительного движения), которые в апреле 2016-го облили Людмилу Улицкую зеленкой возле Дома кино. То есть зеленкой, конечно, нельзя, на отстаивать ценности как таковые можно и должно?

Мне тоже случалось сталкиваться с этими ребятами — в июне 2014 года, когда они разлили какую-то дрянь с мерзким запахом на Конгрессе интеллигенции против войны в Доме журналистов. Мы тогда вышли на улицу, и я поинтересовался у юной активистки НОД (той, которая потом в сети «ВКонтакте» просила автомат, чтобы нас всех перестрелять): «Дочка, а ты что оканчивала?» Ответ выскочил такой, что я не имею права задавать вопросы о ее личной жизни, а в глазах ее была неподдельная, непроплаченная ненависть — это было именно *высказывание*. Следующим может стать убийство — ведь и убийство Бориса Немцова тоже имело смысл как чье-то и адресованное кому-то *высказывание*.

И неожиданный вывод: выход из этой ситуации столкновений противоположных по смыслу высказываний, опасно переходящих в офлайн, дает только журналистика, лишь она способна их рационализировать, проговорить эмоции и преобразовать их в *тексты* для обсуждения. Конечно, разговор о конкурсе школьных сочинений по истории, который проводил «Мемориал» и с которым был связан инцидент у Дома кино, следовало бы, по идее, перевести в плоскость фактов самой истории. Но проблема в том, что пропаганда, воодушевляющая участников подобных акций (и не только правительственных), не производит текстов — она оперирует речевками, которые, чтобы обсуждать их как тексты, должны быть предварительно руинированы. А это всегда очень болезненная операция — и здесь мы попадаем в замкнутый круг, из которого сделаем еще одну попытку вырваться в главе 11 о замкнутых смысловых контурах.

Пока же мы, напротив, еще более обострим эту ситуацию непонимания, доказывая, что журналист, а не только пропагандист, имеет право на свою интерпретацию фактов, когда он доводит свое высказывание до градуса *суждения*.

ГЛАВА 9. СУЖДЕНИЕ И ПУБЛИЦИСТИКА.

Точка «ноль»

Публицистика, оторвавшаяся от журналистики и *фактов*, это и есть пропаганда. Но поскольку всякое событие в процессе коммуникации превращается в *медиасобытие* (мы только что говорили об этом в главе 7), описывающая его журналистика также не может не выйти за ту грань, где она окрашивается признаками публицистики как *жанра*.

По классической формуле заметка в медиа должна отвечать правилу четырех W, то есть содержать ответ на четыре вопроса: What? Where? When? Who? (Что? Где? Когда? Кто?) Но если мы используем термин *произведение*, нам сразу же недостает еще и пятого W: Why? (Почему?) Однако ответ на этот вопрос уже *суждение*, которое неизбежно привносится автором *высказывания*. Потому что вопрос «почему?» — притом что журналистика критична и реагирует на «здесь что-то не так» — сразу превращается в «почему это не так, как должно (было) быть?». Тем самым журналистика уже перешла ту не всегда отчетливую границу, за которой она приобретает качество *публицистики*.

Появившиеся в российских медиа сообщения о гибели детей от голода в Африке, о гибели туристов на Кавказе в результате схода горной лавины или о гибели стариков при пожаре в доме престарелых будут нести на себе разный по силе эмоциональный и ценностный заряд, оттенком которого сразу же окрасится возникшая коммуникация.

Этот новый элемент, превращающий высказывание в *суждение* (часто даже с оттенком «осуждения»), есть *ответственность*, которую автор высказывания не только возлагает на себя, но и предлагает разделить, а в какой-то мере даже навязывает и каждому участнику коммуникации. Ответственность существует в границах той актуальности — как времени, когда можно (было) что-то сделать, — в которой находятся и автор суждения, и *публика*.

Однако коммуникация — отношение всегда свободное (подробнее об этом в главе 15), и за каждым потенциальным

адресатом высказывания остаются возможности: 1) покинуть зону актуальности, например переключить телевизор на хоккей; 2) горестно вздохнуть, но сразу же переложить ответственность на кого-то другого, будь то свое «плохое правительство» или «дядя Сэм» (в коммуникации появился оттенок пропаганды); 3) *разделить чувство ответственности*.

Речь идет скорее о чувстве ответственности, которое может быть коллективным, в отличие от самой ответственности, которая всегда индивидуальна (на этом настаивает Ханна Арендт, к чьим идеям мы вскоре обратимся). Но лишь в случае разделения чувства ответственности субъектами коммуникации дискурс приобретает тот *публицистический* смысл, на который рассчитывал автор высказывания.

Суждение вырастает в зазоре между *сущим* и *должным*, но в тот самый миг здесь появляется и угроза добросовестному изложению фактов: возникает соблазн подогнать сущее под должное или наоборот. Избегая соблазна, журналистика западной традиции настаивает на строгом разграничении фактов и комментариев — для этого используются даже разные полосы газет. В российской традиции журналист обычно высказывает суждение внутри того же текста, который отсылает к фактам, и это, в общем, в большей степени технический вопрос: сама возможность отграничить высказывание от суждения, как и журналистику от публицистики, скорее иллюзия и самообман.

«Сообщения», как мы уже говорили в главе 6, вообще появляются в медиа разве что о погоде, а в остальных случаях даже внешне нейтральное высказывание оказывается, по сути, суждением. Сам критерий отбора новостей и их расположения на полосе — это уже суждение, которое производит редактор. Оттенок суждения ослабевает лишь по мере того, как высказывание удаляется от эпицентров злободневности, но там оно также становится и менее журналистским (мы продолжаем тут логику карт журналистики).

Журналистское (и тем более пропагандистское) высказывание становится суждением постольку, поскольку предполагает (даже если не формулирует в самом тексте) вывод о причинах, а часто и о предполагаемых последствиях

событий и даже уже возлагает на кого-то ответственность за них. Такое «осуждение» не приговор, за ним не стоит сила обязательного исполнения, но пропагандистские суждения приближаются к этой границе, как бы легализуя в глазах публики будущее применение силы той самой властью, которой подчинена и сама пропаганда (о таком механизме мы говорили в главе 4).

Обоснованность (фундированность) суждения не то же самое, что *легитимность журналиста* в процессе поиска фактов и доказательств. Легитимируя свое отложенное право на высказывание, журналист опирается на принцип невмешательства и объективен, а в самом высказывании, как только к нему добавляется качество суждения, публицист, как *парресиаст*, наоборот, субъективен и страстен (пристрастен). Основанием для суждения становятся *ценности*, предположительно разделяемые *публикой*. Однако появляющаяся здесь публицистика подразумевает самую широкую *публичность*, то есть возможность того, что «произведение» будет оцениваться и той частью публики, которая разделяет иные ценности (иногда такая дискуссия даже провоцируется).

Ответственность суждения превышает ответственность высказывания. Суждение всегда *нравственно*, нравственность всегда претендует на всеобщность, а этика, увы, у каждой социальной, или национальной, или иначе выделенной группы может быть — и образуется в условиях распада общей нравственности — своя. Тогда оказывается, что *чем более суждение нравственно, тем более оно спорно* (а не наоборот — только пропаганда придает своим упрощенным «произведениям» оттенок безапелляционности).

Кто же обладает правом выносить нравственное суждение? Монополии на это нет ни у государств, ни у церквей, и история многожды опровергала подобные претензии. Есть, конечно, более и менее нравственные люди, есть и уже известные подлецы и святые, и их суждения воспринимаются по-разному, но перед необходимостью произвести суждение или уклониться от него рано или поздно оказывается каждый. Следовательно, вопрос еще и в той точке, в которой мы оказываемся перед необходимостью суждения.

Мы вправе гордиться тем, что книгу «Эйхман в Иерусалиме (Банальность зла)» Ханна Арендт написала как журналист. На суде над отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса» оберштурмбанфюрером СС Адольфом Эйхманом, проходившем в Иерусалиме в 1961 году, Арендт была аккредитована как корреспондент журнала *New Yorker*, и репортажи из зала суда затем были объединены ею в эту великую книгу.

В 1961–1963 годах, когда Арендт писала репортажи и книгу, «дело Эйхмана» отнюдь не выглядело архивным, а оставалось в самой гуще дискурса не только в Германии. Многие последствия нацизма, прежде всего в виде переживания немцами «коллективной вины», утратили актуальность в смысле «температуры кипения» значительно позже — только в следующем поколении. Философские же обобщения Арендт (по отношению к которым события прошлого стали уже лишь материалом) оказываются предельно современными для сегодняшней России, где многие действия, требующие нравственной оценки, пока тоже чаще получают ее с точки зрения «коллективной», а не личной ответственности.

Между тем «Банальность зла» написана с той поразительной, иногда саркастической бесстрастностью, за которой внутри угадывается грань разрыва сердца, инфаркта. Весь ужас холодной логистики концлагерей и газовых камер, слушая показания свидетелей на суде, Арендт пропускает через себя, тщательно сохраняя позицию *нонкомбатанта*. По отношению к фактам она журналист, холодная публицистичность появляется сама собой на уровне суждения. Не все смогли это оценить. После выхода книги ее, еврейку по крови, тридцать лет бойкотировали в Израиле, а немцы (Арендт, и эмигрировав в США, продолжала писать — то есть мыслить — по-немецки) выдвигали против нее тот известный аргумент, что не вправе судить тот, кто сам не побывал в тех же самых обстоятельствах.

«В которых он якобы повел бы себя так же, как все остальные», — едко дополняет за оппонентов Арендт и утверждает, что не знает, как сама повела бы себя в эксперименте «нажми на курок и убей другого, или палач убьет тебя». С ее стороны

это не кокетство, а точность формулировок. Но, бежав из Германии, она и не оказалась в тех обстоятельствах — по меньшей мере молчаливого принятия, — с которыми смирилось большинство ее соотечественников (и именно в этом ее главное обвинение). В оценке же «банального» («обыкновенного» — в документальном, то есть журналистском, фильме Михаила Ромма) феномена нацизма Арендт не солидаризируется ни с палачами, ни с жертвами. (Аналогичную роль обязан был выдерживать дон Румата на Арканаре — и это не «просто фантастика», а Иосиф Бродский, напротив, чувствует иначе: «Только с горем я чувствую солидарность» — но на то он и поэт.)

И только в этой ледяной точке *неучастия* легитимируется то, что Арендт исследует как *суждение*: оно полноценно, когда выносится со стороны, извне. Если бы судить могли только те, кто сам побывал в оцениваемых обстоятельствах, это сделало бы невозможным всякий суд и историю как таковую. Судья, сам принимавший участие в оцениваемых событиях, должен быть отведен. Сочувствие *постфактум* на уровне суждения превращает наблюдателя в участника, и задача в том, чтобы избежать этого при работе с фактами, вот откуда бесстрашие Арендт. Странно лишь, что в работе «Личная ответственность при диктатуре», отвечая на упреки оппонентов «Банальности зла» в 1964 году, Арендт ссылается на примеры историка и судьи, но не вспоминает о собственной роли репортера.

Между тем право журналиста на суждение, хотя и не тождественное приговору по силе своего действия, зиждется на тех же основаниях: на исследовании всех установленных фактов до той степени, которую он сам сочтет достаточной (иначе необходимо просто отказаться от суждения), и на *неотождествлении себя с участниками событий*.

Шквал критики с обеих сторон заставил Арендт в последующих работах, которые уже после ее смерти, но согласно ее замыслу были объединены в книгу «Ответственность и суждение», отрефлексировать эту точку суждения: в заметках из зала суда, сама отважно проходя через нее на каждом из заседаний, она в ней еще не задерживается.

Эта ледяная *точка «ноль»* есть *точка без-нравственности*, что, в общем, и было уже отражено в формуле «банальности зла»: оно всегда всего лишь логистика, подчиненная целесобразности, — там, внутри, какие-либо нравственные оценки не существуют. Точка «ноль» часто кажется нам далекой, но на самом деле она всегда «здесь и теперь».

Фильм Алексея Германа «Трудно быть богом» был воспринят многими как любование злом. На мой взгляд, его высказывание является лишь художественным описанием зла, то есть он предлагает множеству нас с вами поместить себя в точку «ноль». Чего ради? Того ради, чтобы, выйдя из кино, мы как-то по-другому посмотрели на действительность. Но такая операция небезопасна, она — для «взрослых».

Опубликованный в 2009 году под псевдонимом роман «Околоноля» принадлежит, как говорят, перу Владислава Суркова, занимавшего в то время должность первого заместителя главы Администрации президента. О художественных достоинствах романа можно спорить, но последовательное и со знанием предмета описание общества, где по поводу нравственных критериев установилось полное безразличие, превращает название книги в точную метафору, а предположительное авторство превращает ее в своего рода доктрину — не то чтобы официальную, но где-то близко к тому.

Однако если фильм Германа предлагает нам разделить некую онтологическую (за весь человеческий род, ведь не случайно действие перенесено «на Арканар») ответственность *как время*, то «Околоноля», напротив, совершенно в постмодернистском русле снимает с нас это время, он вообще *не публицистичен* и в этом смысле инфантилен (разумеется, это мои субъективные оценки, а я не искусствовед).

Проблема тем не менее поднята, и заключается она в следующем. Большинство известных нам исторических обществ существует при отличной от ноля нравственной температуре: моральные критерии могут быть весьма различны и даже противоположны, однако они действуют. Но так бывает не всегда, и такое состояние, когда они отсутствуют, Мераб Мамардашвили называет «редуцированным»: в нем

оказываются отброшены на свалку истории сложные, веками выроставшие структуры «метафизических мускулов», прежде всего нравственности и права (не тождественного «законодательству», которое, особенно в такие периоды, может быть и безнравственным).

Выбор между добром и злом возникает и в стабильном (традиционном) обществе, но, когда общество (в какой-то конкретной точке, так как эти исторические процессы не идут синхронно) проходит через фазу «околоноля», те, кто пытается все же сделать этот выбор, лишаются возможности опереться на уже готовые нормы и прецеденты как на *систему*.

Именно в этой точке Арндт и делает эмпирический (она наблюдала это воочию) вывод о том, что масса немцев просто переключила свои оценки добра и зла на ту схему, которая была предложена нацистской доктриной. Так им было легче и под давлением пропаганды, и под угрозой самим стать жертвами. После этого уже не было проблем с нравственностью: точка выбора незаметно осталась позади. И все же какая-то часть вовсе не героев (такова Лайза Миннелли в фильме «Кабаре», осмысливающим ту же эпоху художественными средствами), сталкиваясь с ситуацией, требующей *выбора* даже не между добром и злом (этих полюсов уже нет), не может переступить через некую черту и оказывается *в роли законодателя для самих себя*.

Это и есть, напоминает Арндт, точка приложения знаменитого категорического императива, удивлявшего Канта не меньше «звездного неба над головой». Здесь Януш Корчак сделал свой шаг — все религии мира согласятся, что это был шаг святого, но не они его ему продиктовали (хотя можно помыслить и так, что это сделал Бог).

Повторяющаяся в истории ситуация без-нравственности повторяет и то испытание, перед которым стоят персонажи Евангелия. Иисус ведь не дает прямых ответов на их вопросы и не объясняет, что надо делать, он говорит только какие-то правильные, но общие вещи: «Не собирайте себе сокровищ на земле, собирайте на небе». Это как? Зато каждый и в каждый момент остается с Ним один на один.

Применительно к суждению Мамардашвили говорит еще и о необходимости оказаться в этой точке «ником»: сюда нельзя притащить ни свою прошлую эмпирическую, то есть случайно сложившуюся, биографию, ни прошлый опыт. Описывая в публичных лекциях общество с разлагающейся нравственностью (на тех же примерах Германии, не мог же он в СССР говорить о Гражданской войне или о сталинском режиме), Мамардашвили, в то же время поразительно пророчествуя о России нулевых, использует услышанный им от врачей термин «красивый рак». Конечно, рак сам по себе всегда безобразен, но иногда он протекает в столь классической форме, что врачи звонят друг другу и приглашают этим, так сказать, полюбоваться. «Это установит нас в не морализирующем взгляде на общество и историю», — поясняет Мамардашвили слушателям.

Это отступление в область нравственной философии для нас не просто упражнение. Проблема в том, что если в медицине «красивый рак» описывает врач или ученый, то в общественной жизни первым это делает журналист — это его профессия и его *бремя*.

В 2010 году жаркие споры в «Новой газете» вызвал очерк юной Елены Костюченко с фотоиллюстрациями столь же юной Анны Артемьевой о проститутках, «работающих» с дальнобойщиками («Трасса»). Как в тексте, так и в иллюстрациях отсутствовала даже попытка дать какую-то нравственную оценку этому явлению, что тогда еще было для российской журналистики весьма нетрадиционно. Такой взгляд «из-за стекла» показался некоторым коллегам (и, конечно, многим читателям) безнравственным, как подглядывание в эфире за участниками передачи «Дом-2», но в отличие от этой передачи, не имеющей отношения к журналистике, здесь *без-нравственность* не была постановочной.

Мне представлялось, напротив, что это был нравственный подвиг — удавшаяся попытка поместить себя в точку «ноль», где нравственность как бы еще не возникла, ведь «старый Адам... характеризуется прежде всего тем, что его еще и нет» (Мамардашвили). Суждение того, кто не пропустил

себя «через ноль», провисает как фарисейство, в котором уже заранее остыла энергия высказывания. Это довольно опасная — тем, что можно и перейти черту, — операция сомнения относительно своего *права выносить суждение*. Этот фокус с точкой «ноль» был затем блестяще освоен другой журналисткой «Новой газеты» — Еленой Рачевой и использован ею для описания войны, в которой по большому счету нет добра и зла, правых и виноватых. В репортаже «Поезд № 336 (54 часа с добровольцами, которые едут с войны)», опубликованном в апреле 2015 года, Рачева просто дает подробную запись разговоров, которые она — пожалуй, теперь уже даже с сочувствием — ведет в поезде с добровольцами, чьи руки, быть может, омыты в человеческой крови. Конечно, у автора уже есть собственное суждение, но в газетном материале оно выведено за скобки, и его вынесение — *как бремя* — возлагается теперь уже на множество «всех нас», и, по сути, это предложение *разделить ответственность* (как чувство).

Публицистика — такой жанр журналистики, который требует осторожности. Хороший, опытный редактор (а свой, внутренний, редактор сидит в каждом хорошем журналисте) беспощадно убирает пафос и прячет суждение между фактами, которые, если они есть, доказаны и правильно поданы, всё скажут сами за себя. Пусть суждение выносит публика, пусть она тоже разделит это чувство ответственности и бремя.

Рядом с этим массово, особенно в электронных «СМИ» и социальных сетях, расцветает то, что журналисты называют *дурной публицистикой*. Это громкие публицистические высказывания, отрывающиеся от фактической стороны дела, часто опирающиеся на мифы, а не на факты. Это *закадровый текст*, под который можно подложить какую угодно картинку (и наоборот, и этот прием использует не только телевидение). Интернет делает возможным вынесение таких суждений массами «пользователей», о нравственных качествах которых вообще ничего неизвестно, или, напротив, известно, что они не столь уж высоки. Это инфантильная публицистика, создающая в ноосфере тем большую угрозу и взрывоопасность, что никакая ответственность под ней не лежит (мы еще подойдем с другой стороны к этой же теме в главе 13).

ТЕТРАДЬ III.

КАРТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

(ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ)

ГЛАВА 10. ПО ТУ СТОРОНУ ЖУРНАЛИСТИКИ: ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

На берегу неправдоподобно прозрачного Женевского озера растут удивительные деревья, им лет по триста, и я почти не встречал таких в России: старые, но не сухие, с юной и пышной листвой, мощные, но не угрюмые, и все разные. Может быть, секрет в том, что Швейцария уже двести лет ни с кем не воюет? Семьсот лет назад нежелание воевать запустило процесс объединения кантонов Швейцарии: в Женеве говорят по-французски, в Цюрихе — по-немецки, и никто не выясняет, кто из них главный. Мир, а не война стал у них государствообразующим фактором — как это? Мы обсуждали это с моей давней, еще по «Комсомолке» начала девяностых, приятельницей Олей Мусафировой — журналисткой из Киева. Ведь война первым делом не щадит деревья: я видел их обломки на Кавказе и в Приднестровье в начале девяностых, а Оля видит и сегодня — в командировках в Донбасс.

В Женеву мы с ней приехали в сентябре 2016 года в составе делегаций двух союзов журналистов: она — Украины, я — России. Еще один украинский союз вообще отказался ехать на встречу, хотя бы даже под эгидой ОБСЕ. Тема была сформулирована прекрасно: «Две страны — одна профессия». Но это было сделано еще в 2013 году, а с тех пор много чего случилось. И мы с Олей были единственными, кто по старой памяти оторвался, чтобы вместе погулять и обсудить житье-бытье, — остальные делегаты держались строго со «своими», хотя на семинаре в офисе ООН украинцы все же говорили по-русски, не опустили до публичных демонстраций. По возвращении в Киев их ждали разборки с коллегами:

встреча с «москалями» многими там воспринимается как измена родине.

Тема круглого стола была Hate Speech, или «Язык вражды». В России на нем много лет говорит не только телевидение и не только ЛДПР, занявшая второе место на последних выборах в российский парламент, — центры «Э» (по борьбе с экстремизмом) ищут «ненависть» в Библиотеке украинской литературы. Юридическими инструментами Hate Speech улавливается нечетко — чаще это язык пренебрежения жестом, язык шпаны. С российским Союзом журналистов к сентябрю 2016-го произошла метаморфоза, о которой я, может быть, еще расскажу, и его представители больше оглядывались друг на друга, чем на «укрофашистов», поэтому вводили тему в более безопасную сторону «ненависти» к ЛГБТ. А украинцы сумели-таки точно сформулировать свои претензии: «Если вы Союз журналистов России, почему вы не высказались по поводу Дмитрия Киселева?» На самом деле обобщенный телеведущий Киселев (а на Украине с ним ассоциируются уже все российские «СМИ») должен отвечать в первую очередь перед гражданами России: ведь это нам он тысячу раз наврал и ни разу не извинился.

Стран-то все отчетливей оказывается две, и разных, а профессия все еще «одна»? (Погодим развивать эту тему, мы ее специально коснемся в главе 20 на примере практики Общественной коллегии по информационным спорам.)

Вечером за чашкой кофе в ресторанчике на берегу безмятежного озера Оля рассказала мне об уговоре с сыном: добровольцем, чтобы мать в могилу не свести, он на войну, так и быть, не пошел, но если призовут, то пойдет. А в семье ее знакомых гробы уже приходили. Кроме онтологического ряда, есть еще и медийный. Большинство российских «СМИ» замалчивает военные потери, показывая лишь жертвы среди мирного населения на юго-востоке Украины, а для украинских это главное в их ежедневной повестке. И хотя в украинских «СМИ» тоже есть пропагандисты не лучше, а, возможно, и хуже российских, картина, формируемая для зрителей той и другой страны, оказывается разной: Украина уже третий год находится в состоянии войны с Россией, а Россия

не воюет — но только потому, что этого нет в дискурсе ее главных (по широте охвата) медиа.

Только этим можно оправдать украинский сайт «Миротворец», который летом 2016 года выложил в открытый доступ персональные данные, адреса и телефоны нескольких тысяч журналистов из разных стран, назвав их всех «пособниками террористов». В этом черном списке оказалось и несколько журналистов «Новой газеты», в том числе Елена Костюченко, взявшая в марте 2015 года сенсационное интервью у воевавших на юго-западе Украины танкистов из Бурятии, и Павел Каныгин, «журналист 2015 года» по версии сразу нескольких журналистских сообществ, бравший интервью у политиков и командиров с обеих сторон фронта и дважды попадавший в плен. Технически, вероятней всего, это был слив каких-то спецслужб (иначе составить такое досье было невозможно), но адреса и телефоны — «факты» лишь в понимании этих спецслужб. Сайт «Миротворец» (мимикрия, подделка — помните, у Бердяева? — глава 2) объединил всех этих людей по одному признаку: они получили, чаще всего вместе с аккредитацией у властей Украины, также аккредитацию в ЛНР и ДНР. Но иначе нельзя увидеть картину по обе стороны от линии фронта, а не приподнявшись над ней, *нельзя остаться журналистом.*

В июле 2016 года штаб вооруженных сил Украины в Донбассе предложил лишить аккредитации журналистку «Новой газеты» Юлию Полухину, якобы передававшую в своих репортажах сведения, составлявшие, с их точки зрения, военную тайну. В ответном заявлении, распространенном газетой, указывалось, что Полухина, напротив, с угрозой для жизни фиксировала обстрел подразделений ВСУ из 120-миллиметровых минометов, которые, согласно минским соглашениям, должны были быть отведены на расстояние, исключающее такую возможность. «Мы уверены, — писала «Новая», — что это позиция отдельных командиров и должностных лиц украинской армии, которые по советской привычке считают, что общество не может и не должно знать правду о происходящем, потому что эта правда может угрожать их ведомственным и личным интересам...».

А вот что уже в следующем номере объяснила по этому поводу сама Полухина (ошибочно понимаемая скромность помешала ей использовать местоимение «я» в первой публикации): «Мы выполняли свою работу — то есть фиксировали бой, а военные выполняли свою. Когда прилетела 120-я мина (имеется в виду калибр. — Л. Н.) и из-под завала вытащили еще живого “Кабана” (один из бойцов, накануне отдавший Полухиной на ночь свой спальник. — Л. Н.), мы перестали быть просто журналистами (выделено мною. — Л. Н.). Журналист на войне не может брать в руки оружие, но должен помогать раненым. Я бегала за бинтами, Настя С. (в заметке есть полные фамилии) перевязывала раны, Костя Р. тащил носилки до “скорой помощи”. Мы не спрашивали на это разрешения, и никто нас не останавливал».

Работая на войне, невозможно не проникнуться сочувствием к тем, с кем ты рядом, а попадание журналиста на ту или иную сторону от линии фронта часто зависит от случая. Журналист не разведчик, у него нет специальной выучки против чисто человеческих чувств, но, выбравшись в «гостиницу», чтобы написать или смонтировать материал, он должен по возможности отследить свою ангажированность сочувствием и постараться освободиться — не от сочувствия, а от ангажированности. Это не всегда легко сделать. Кроме того, такую естественную ангажированность надо отличать от заданной предвзятости пропагандиста.

Правило о том, что журналист не должен брать в руку оружие, надо понимать шире, чем буквально: это продолжение уже рассмотренного нами принципа *невмешательства* (глава 4) до той предельности, которая и есть война. Но и «информационная война» тоже неслучайный термин: «военные действия» ведутся в смысловом пространстве, где главное оружие — «язык вражды», а отсюда по закону обратного действия симулякра вылетают уже настоящие снаряды и пули. В этом смысле пропагандисты — это действительно солдаты информационного фронта, а журналисты, напротив, всегда *нонкомбатанты*. Но в окопе (как и на полосах многих «СМИ») они толкаются плечом к плечу, и в такой конфигурации оказываются врагами. Кроме войны между сторонами

конфликта (в данном случае вооруженными силами Украины и ополченцами Донбасса), в общем смысловом пространстве друг с другом воюют еще и журналисты и пропагандисты соответственно украинских и российских медиа.

Летом 2016 года в «Новой газете» был опубликован большой очерк Елены Рачевой с фотографиями Анны Артемьевой — эти штатские девочки целый месяц переходили туда-сюда через линию фронта и рассказали о жизни людей, живущих в селах вдоль нее. У героев их очерка по обе стороны была одна национальная принадлежность — «человек». Однако в комментариях к этому материалу наших девочек обвинили в измене родине.

Война выводит *журналистику конфликта* (глава 14) за рамки ее собственной логики. Для журналиста целью описания конфликта является помещение его в дискурс открытого (и с открытым забралом) обсуждения, а пространство информационной войны всегда стремится огородиться и исключить проникновение сюда «противника».

Проблема осложняется тем, что в репортажах из зоны боевых действий очерковые и исследовательские элементы часто спрессовываются в один текст. Журналист на войне не обязан быть экспертом по видам вооружений, тактике и стратегии (хотя со временем он им также становится), но, когда очерк и описание военных действий сливаются в одном тексте, все в нем «приобретает национальность»: неслучайными оказываются фамилии командиров и названия частей, населенных пунктов, видов техники. Это противоречие между открытым характером журналистики и военной цензурой фундаментально, и компромисс между ними в каждом случае приходится устанавливать «вручную». Однако ошибки в деталях тоже приводят к опасным последствиям и даже к возобновлению информационных войн, когда публикация становится *медиасобытием* (глава 8).

16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково произошел бой, в ходе которого была остановлена фашистская танковая колонна и погибло до ста советских воинов. Это все, что на самом деле точно известно, поскольку обстановка боев

под Москвой в то время не позволяла фиксировать детали. Как позже установит военная прокуратура, литературный секретарь газеты «Красная Звезда» Александр Кривицкий, живо описавший этот бой в первом очерке о гибели «28 панфиловцев», сам на месте боя не был. Его ошибка в списке погибших не повлекла бы столь далеко (до наших дней) зашедших последствий, если бы усилиями патриотической пропаганды (вполне оправданной — что еще больше осложнило всю эту историю) рядовая по тому времени заметка не была превращена (раскручена) в медиасобытие. Однако, тиражированная и подхваченная, история «28 панфиловцев» еще во время войны превратилась в национальный миф и в патриотическое знамя.

В ноябре 1947 года органы прокуратуры арестовали в Харьковской области Ивана Добробабина, в отношении которого имелись доказанные сведения о том, что он служил полицаем на оккупированных немцами территориях. Заинтересовавшись найденной у него при обыске книгой о «28 панфиловцах», следователи установили тождество между ним и тем Добробабиным, который якобы погиб в бою под Дубосеково и был награжден посмертно (как и все 28 панфиловцев), звездой Героя Советского Союза (выяснилось, что в живых осталось и еще несколько человек из списка Кривицкого).

Внутри национального мифа оказалась скрыта не просто ошибка, а такая часть правды, которая отравляет все его содержание до сегодняшнего дня. Министр культуры Владимир Мединский назвал уже сегодняшних журналистов и историков, выразивших сомнение в подлинности сюжета о 28 панфиловцах «конченными мразями». А Александр Кривицкий, закончивший свою карьеру «заслуженным работником культуры РСФСР», в 1960 году заклеил военный и во многом документальный роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» как антисоветский, в результате чего он был опубликован только в 1988 году.

Надо ли к этому возвращаться теперь? Приходится, ведь сегодня министр культуры, утверждая приоритет мифа перед историческими фактами, отстаивает право на фейк ради будущей мифологии уже для нынешних пропагандистов.

Но журналист, как историк (подробнее в главе 21), отвечает уже не перед «министерством правды» (по Оруэллу).

Для политиков правда — это то, что соответствует интересам государства (у Ленина — классовым). Для военных дезинформация тем более не ложь, а всего лишь тактика. Правда, разумеется, может соответствовать или не соответствовать чьим-то интересам, но она никогда не оказывается их следствием — и это подход журналистики. По формуле генерала Отто фон Клаузевица, война есть продолжение политики иными средствами. Но война — продолжение «иными средствами» не просто «политики». Уточняя Клаузевица, война «продолжает» внутреннюю политику вовне, а внешнюю — внутрь.

Как сказал министр внутренних дел Российской империи Плеве в 1904 году, чтобы остановить революцию, нужна «маленькая победоносная война» (он имел в виду скорую войну с Японией, которую Россия, как известно, позорно проиграла). Всякая аналогия хромает, но этот второй план именно информационной войны нельзя игнорировать при оценке событий на Украине: это пропаганда ради войны или уже война ради пропаганды?

Война — самой своей безнравственной сутью — заставляет людей задумываться над вопросами нравственности, не так сильно беспокоящими их в мирное время. Главный из них — фундаментальный вопрос о правде и лжи и о самой возможности их различения.

В книге «Черная папка. История одного журналистского расследования» Владимир Мукусев — в прошлом журналист телепрограммы «Взгляд» и депутат Верховного Совета РСФСР 1989 года созыва — подробно и местами захватывающе описывает свои пятнадцатилетние поиски фактов, связанных с убийством на территории бывшей Югославии 1 сентября 1991 года корреспондентов Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куриного (Ногин был другом Мукусева). Осенью 1993 года свидетель расстрела советских журналистов, с огромным трудом найденный группой Мукусева, обещал показать его точное место, но попросил начать

раскопки на некотором отдалении, чтобы отвести от себя подозрения. Фактически место захоронения было уже обнаружено, но 21 сентября 1993 года Борис Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР, и офицеры разведки, работавшие в группе Мукусева, извинившись перед ним, отказались продолжать поиски. Официальное расследование с российской стороны было свернуто: сведения о том, что русских расстреляли сербы, плохо увязывалось с внешней политикой РФ. В 2006 году друзья, которых за эти годы Мукусев приобрел в Хорватии, установили погибшим журналистам памятник в виде открытой книги. На одном ее листе по-русски написано: «На этом месте при исполнении профессионального долга 1 сентября 1991 года трагически погибли русские журналисты Виктор Ногин и Геннадий Куринной». Однако на хорватском языке на второй «странице» текст иной: «Здесь... члены сербских военизированных подразделений злодейски убили русских журналистов».

Вторая надпись даже в большей степени правда, чем первая, — в ней больше фактов. Но это как будто уже и не правда. Война есть такое состояние умов, в котором правда никому не нужна как таковая, она используется только в целях дальнейшего разжигания войны — по крайней мере, информационной, и журналистике тут места нет.

Журналист по определению держит в прицеле власть, но *своей страны* — той, к народу которой он обращается. А в логике информационной войны это уже измена Родине. В условиях войны журналист оказывается перед выбором: стать «предателем родины» либо предателем профессии. Как измена воспринимается уже и антивоенная публицистика, например посты в «Фейсбуке» Аркадия Бабченко, который заслужил право на высказывание своей биографией: он отслужил первую войну в Чечне по призыву, уехал на вторую по контракту и, преодолев (на моих глазах) адреналиновый «вьетнамский» синдром, пришел, наконец, к пацифистским убеждениям.

Журналист — человек *мира* в обоих значениях этого слова. Он не может быть на чьей-либо стороне, кроме «всех» в общечеловеческой истории. Но эта позиция часто связана

с рисками не столько в других, сколько в своей собственной стране, и это всегда нелегкий выбор (Бабченко пришлось уехать из России — надеюсь, что временно). Для журналиста критиковать действия своего правительства — это и есть его работа, но ордена получают другие люди — за безопасную чаще всего для них самих информационную войну.

Есть профессии, на время исполнения которых человек как бы теряет национальную принадлежность, они космополитичны. Таков врач, которому нет дела до того, кто лежит на операционном столе, такова же, в основе, профессия судьи, но судьи редко выдерживают свою профессию до конца. То же и пропагандисты, дорожащие фактами меньше, чем местом под солнцем власти. Поэтому есть «репортеры без границ» и «врачи без границ» (реально существующие международные организации), но не бывает политиков, военных или пропагандистов «без границ».

Однако что такое *граница*, если мы говорим не об обычной, а об информационной войне, ведущейся не в физическом пространстве, а в ноосфере — сфере смыслов? Линия фронта проходит здесь в иной плоскости: смысловые пространства, даже если в самом грубом приближении обозначить их границы ареалами распространения национальных языков, не совпадут с государственными границами (так, ареал смыслового пространства английского языка, нравится нам это или нет, все более распространяется и на те страны, где национальными языками признаются самые разные).

Четверть века назад административные границы между странами бывшего СССР имели символическое значение, а языковые были и вовсе размыты. По крайней мере, Россия, Украина и Беларусь до 2014 года представляли собой если не единое (оно и между двумя субъектами РФ не едино), то сообщающееся и «безвизовое» смысловое пространство. Последующие события привели к очень сложным и разноуровневым изменениям в этом пространстве, которые как-то коррелируют, но не совпадают с физической географией.

Прежде всего основная часть Украины действительно и, наверное, впервые столь эффективно обособила свое

смысловое пространство украинским языком — это не только формальные запреты на трансляцию передач российских каналов или «на вывески», но гораздо более глубокое внутреннее обособление. Продолжая владеть русским, украинцы более не хотят использовать его как инструмент дискурса (хотя и большинство жителей Донбасса, даже владея украинским, отвергают его для этой цели). Часть украинских журналистов при этом и чисто физически переместилась в Россию, есть и обратные примеры, а российский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет нашел свою смерть в результате теракта в Киеве.

Что изменилось в тех отношениях журналистики, которые поддерживаются на русском языке? Они расслоились по границам замкнутых дискурсивных контуров (о них подробнее в следующей главе). Информационная война ведется, по сути, между двумя сообществами в границах одного и того же русского языка, хотя «географически» эти «контур» захватывают частично и территорию Украины и многих других стран, где живут эмигранты из бывшего СССР.

Карты журналистики на разных языках очерчиваются, таким образом, границами не географическими или административными, а иными. Однако это карты не журналистики только, но также пропаганды и развлечений (см. главу 16), что составляет «культуру» в широком смысле слова. Пропагандисты в состоянии информационной войны друг с другом не могут найти общего языка по определению, журналисты, говорящие на разных национальных языках, тем не менее могут договориться друг с другом, стоя на одних и тех же профессиональных позициях (как мы с Олей Мусафировой), но разные для разных сообществ (даже говорящих на одном национальном языке) практики проведения досуга разделяют их больше, чем любые споры о рациональном (глава 11): ходящие в театр и в тир становятся друг от друга дальше, чем говорящие об этом по-русски или по-украински.

Все время хочется надеяться, что эта глава о войне в книжке «вставная», временная, и при каком-то последующем переиздании, если таковое случится, ее можно будет просто «сократить»: ведь в современном мире большая часть

населяющих его людей бóльшую часть отведенного им времени жизни все же проводит в условиях мира. Увы, это иллюзия, если мы говорим не о физической, а об информационной войне. По крайней мере, в той части ноосферы, где смыслы передаются по-русски, за тысячу лет ее существования таких периодов, когда мы бы с кем-то не «воевали» внутри или вовне, а чаще всего сразу на два фронта, по-моему, не было. Идея мира, как в упомянутой в начале этой главы Швейцарии, да и вообще в европейской культуре, оказывается объединяющей лишь для одного из двух «народов», населяющих «русский мир», но с ним постоянно «воюет» другой народ, передающий смыслы на том же самом языке — но другие.

Это и есть проблема замкнутых дискурсивных контуров, которой будет посвящена следующая глава.

ГЛАВА 11. ЗАМКНУТЫЕ ДИСКУРСИВНЫЕ КОНТУРЫ

26 апреля 2016 года Дмитрий Киселев в передаче «Вести недели» на канале «Россия» продемонстрировал «аусвайс» некоего Романа Колия, якобы служившего в украинском батальоне СС во время Великой Отечественной войны, с цитатой Гитлера на немецком — и перевел: «Мы победим Россию, когда украинцы и белорусы поймут, что они не русские». Либеральная блогосфера в тот же день подвергла «аусвайс» коллективному фактчекингу.

Подлинность цитаты, как оказалась, подтверждается только мемуарами одного из соратников Гитлера, однако хуже оказалось то, что перевод ее был сделан, по-видимому, «Яндекс»- и «Гугл»-переводчиками в стиле, как заметил один из блогеров, владеющих немецким (трудно удержаться и не процитировать): «Гроссен собакен зубен клац-клац». В якобы документе было использовано двойное SS, но так это стало писаться только после реформы немецкой орфографии 1996 года. Сам текст «аусвайса» был набран шрифтом, который не использовался до появления компьютерной программы Word, а «Роман Колий» был опознан как офицер с другой, немецкой, фамилией, чье фото есть в интернете на сайтах любителей эсэсовской старины.

Между тем англичанин Элиот Хиггинс, не зная арабского языка, в 2012 году начал писать блог о войне в Сирии, анализируя схему поставки оружия боевикам по открытым источникам. По признанию Хиггинса, до этого он «не имел никакого представления о войне, кроме того, что можно почерпнуть из фильмов о Рембо», но его опубликованные в 2013 году выводы о поставках хорватского оружия, оплаченного деньгами из Саудовской Аравии, и о применении в Сирии кассетных бомб легли в основу слушаний в британском парламенте. За два дня до крушения над территорией Украины «Боинга МН17» (17 июля 2014 года) Хиггинс запустил сайт Bellingcat с целью «объединить усилия гражданских журналистов мира» в расследовании по открытым

источникам событий, привлекающих их внимание. Подготовленный Bellingcat доклад о принадлежности «Бука», из которого был сбит «Боинг МН17», конкретным войсковым частям, был сделан по данным, почерпнутым, в частности, из российских социальных сетей, и использован голландскими следователями и другими официальными инстанциями по делу о сбитом самолете.

Это пример не просто разного отношения к журналистике. Конечно, «партизанская» работа блогеров не исключает ошибок в их выводах о фактах, однако мы видим, на что, вооружившись современными средствами поиска и проверки фактов, способен один энергичный и талантливый человек. Но почему тогда этого не делают российские телеканалы, у которых таких возможностей технически гораздо больше?

Можно много рассказывать о «распятых мальчиках» и других фейках пропаганды (разумеется, не только российской), распространенность которых в электронных медиа породила не только новые приемы фактчекинга, но и создание — как за рубежом, так и в России — специальных ресурсов вроде «Лапшеснималочной». В феврале 2017 года в Гарвардском университете прошла целая конференция, посвященная проблеме фейков, а в России с ними постоянно сталкивается и Общественная коллегия по жалобам на прессу (о ее деятельности см. главу 20).

Однако вопрос намного глубже, чем просто проблема фактчекинга. Дмитрий Киселев не родился пропагандистом, у него большой журналистский опыт. Как он мог купиться на такую грубую подделку? Почему, в конце концов, на телеканалах нет отделов проверки, от которых менее богатые редакции газет были вынуждены отказаться главным образом по причине отсутствия денег?

Слушатели на лекциях чаще всего объясняют такие примеры тем, что пропагандисты «не дорожат своей репутацией». Однако репутацией перед кем? Перед их постоянными зрителями у них с репутацией все в порядке. Они (и эти «СМИ») образуют со своей аудиторией *замкнутые информационные и смысловые контуры*, внутри которых ценностные ориентации и установки (которые нельзя рассматривать как правильные

или неправильные сами по себе) играют более важную роль, чем факты.

Даже если аргументы, основанные на фактах, и долетают из одного замкнутого контура в другой, они там не воспринимаются, отскакивают, то есть вид реальности изнутри контура перестает зависеть от фактов. Настойчивость в отрицании очевидного бывает часто поразительна. Если по поводу очередного «распятого мальчика» нечего возразить по существу, в ход идут опровержения *ad personam* в виде обвинения одних в работе за «иностранные гранты», а других просто в слепоте, то есть на уровне «сам дурак».

Этот феномен, давно известный в психологии как *склонность к подтверждению собственной точки зрения*, или *confirmation bias*, в информационном обществе становится фактором, угрожающим его целостности в силу возникающей непроходимости аргументов и принципиальной *невозможности единого общественного дискурса*. Confirmation bias — явление далеко не новое, но социальные сети придают ему иной масштаб благодаря тому, что, как мы отмечали в главе 7, каждый потенциальный адресат высказываний теперь формирует собственное «СМИ» в виде ленты новостей: страничка в социальных сетях доносит до каждого ту «информацию», которая ему больше нравится и убеждает в том, что не вызывает раздражения.

Тираж «Комсомольской правды», когда я там работал на рубеже девяностых, доходил до 22 млн экземпляров, а программа «Взгляд» одновременно собирала у телевизоров почти 200 млн зрителей — то есть одну и ту же передачу смотрели или одну и ту же газету читали самые разные люди. Там можно было найти заметки и сюжеты на разный вкус: что-то могло понравиться одним, но вызывать резкий протест у других, и наоборот. Это, однако, создавало общую повестку, которая могла обсуждаться, пусть даже с напряжением, людьми разных убеждений. Сегодня положение изменилось: человек сетевого общества не читает ни одну газету и не смотрит ни один канал телевидения целиком. Интернет, на который мы рассчитывали как на средство облегчения и расширения коммуникации, оказался на деле не проводником (*medium*), а «полупроводником» и даже изолятором.

Летом 2012 года общие друзья попросили меня помочь их знакомому священнику — отцу Петру, который тогда уже в течение двадцати лет создавал и создал на глиняной пустоши в 130 километрах от Москвы сначала детский приют, а затем и гимназию. Приехав туда, я с изумлением нашел чуть в стороне от шоссе школу, музеи и галереи, весьма обширную и разнообразную библиотеку и даже маленький зоопарк. Конечно, я не перезнакомился с каждым из трехсот детей в этой обители (которых отец Петр всех знает как родных), но те, с кем я разговаривал в тот свой приезд и в последующем, вовсе не выглядели нелюдимыми и мрачными. Нужда отца Петра, заставившая его искать помощи «Новой газеты», которую он при других обстоятельствах читать никогда бы не стал, состояла в том, что в трехстах метрах от обители, прямо под бугром, у речки, где гуляют младшие дети, появились геодезисты: начались работы по прокладке новой ветки ревушей федеральной трассы.

Наш очерк о школе отца Петра, опубликованный в августе 2012 года, был — не скажу, как и кем, — доставлен в Кремль, Администрация президента подключила к делу в то время уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, и, несмотря на сопротивление областных властей и строительного министерства, было принято решение перенести трассу на несколько километров в обход. Мы подружились: к отцу Петру я время от времени наезжаю до сих пор. А когда мы встретились впервые, это был как раз день провозглашения приговора по делу Pussy Riot, и я просто не мог не задать ему вопрос об его отношении к этой истории. Монах подумал и предложил такой пакт: «А давайте мы не будем говорить на эту тему, все равно ведь мы ни о чем не договоримся».

С тех пор мы с ним так и дружим, и, когда отец Петр как-то проговорился, что выпускники кадетского корпуса его гимназии поехали защищать «русский мир» на востоке Украины, я промолчал. Это цивилизованный выход — но только для нас двоих. Пока его воспитанники живут в замкнутой обители, они избавлены от когнитивного диссонанса, и это, вероятно, неплохо с педагогической точки зрения. Но затем им предстоит выйти «в мир», где рано или поздно они столкнутся

с «врагами» и, наверное, станут биться с ними за «правое дело» с той решимостью, какую в них воспитал высокообразованный и добрейший, да практически святой, отец Петр.

Я подчеркиваю, что в гимназии отца Петра широкое образование поставлено так, как в редкой светской школе, и ее выпускники, которым до выхода «в мир» не разрешается пользоваться интернетом, без осечки поступают в самые лучшие московские вузы — они прекрасно образованы в истории, литературе, географии, биологии и других, в том числе технических, предметах. Наряду со знаниями они впитывают здесь в себя и ценности, которые никак нельзя назвать дурными: честности, патриотизма, религиозной и семейной жизни. Однако в России эти ценности могли бы считаться «европейскими» где-нибудь в середине XIX века или раньше. Может быть, это совсем неплохо, если говорить о твердой приверженности им, но сама европейская цивилизация за прошедшие полтора века или более стала понимать их уже несколько иначе — более рационально и «относительно».

Для понимания этой — может быть, сегодня главной — проблемы России (если не всего современного мира) нам пригодится тот подход, который Мишель Фуко развивает в своей «Археологии знаний». Прежде всего надо расклеить коннотацию «научное знание» — таким образом это сцепилось уже в эпоху модерна вместе с верой в науку, которая утвердилась в западной цивилизации вместе с модерном. Знание, безусловно, может быть не только научным. Древняя индийская мифология, например, конечно, представляла (и до сих пор представляет!) собой (как и китайская, древнегреческая или любая иная) систему знаний, тем более устойчивую и крепкую, что скептицизм модерна (до этого развиваемый скорее как маргинальные течения мысли) не подтачивает ее постоянно.

Фуко обращает внимание на то, что *высказывание* (интересно, что он понимает этот термин сходным с нами образом, хотя не раскрывает его детально) может быть понято не иначе, как в рамках данной *дискурсивной практики*. Практики же эти различаются от страны к стране, от эпохи к эпохе и от культуры к культуре, в связи с чем Фуко и называет свой метод «археологией»: кроме высказывания, чтобы его понять, нужно

«выкопать» и весь контекст «практики». За высказываниями, которые будут неминуемо неточно поняты «на поверхности» как набор терминов, одинаковых для всех участников коммуникации, в глубине «практик» таятся *исторические априори*, опирающиеся на *архивы* — целые и цельные, но как бы сжатые (как файлы) архетипические системы, где упакованы прежде всего ценности веры и не подвергаемые сомнению знания-мифы.

Эти археологические, «архивные» знания генетически заложены, конечно, в каждом из нас — самóй «генетикой» той культуры, в которой выросли носители общего языка. Они, в общем, *априори* понятны и тому, кто берется их оспаривать (а иначе он и вовсе не смог бы этого делать), а разница между участниками дискуссии заключается в том, насколько каждый из них согласен ее *рационализировать*, сразу подвергая сомнению весь «архив».

Наши *замкнутые контуры* (или *дискурсивные практики*, по Фуко) с этих позиций могут быть описаны как *рациональный* и *мифологический*, но относительно, то есть с пониманием того, что и у модернистов-западников, разумеется, есть собственная мифология, а в мифологический контур все же проникают, наряду с мифами, также и противоречащие им исторические факты, а вместе с ними и скептические сомнения. Но у нас разные *исторические*, то есть меняющиеся от эпохи к эпохе, но медленно (а иначе человечество бы просто погибло), *априори*.

В общем и целом обе дискурсивные практики имеют как свои преимущества, так и недостатки, но опасность состоит в том, что они существуют в одном и том же «сейчас», одновременно и постоянно сталкиваются друг с другом, но при этом друг друга чаще всего просто не понимают. Так, сегодняшнему россиянину было бы нелегко понять своего соотечественника XVI века, даже если не обсуждать, кто из них умнее, добрее и вообще «относительно» лучше (а ведь мы это обсуждаем постоянно).

Идея «особого (читай: не западного) пути России» на самом деле и не предполагает существования в ней журналистики. В этой парадигме власть сакральна, она принимается

как данность и может быть предметом обсуждения — в том числе даже критики, но лишь с поправкой на эту ее сакральность, на то, что «от нас ничего не зависит». Подданный не гражданин, телевизор ему нужен лишь для того, чтобы знать волю сюзерена или хотя бы пытаться ее предугадывать, в такой конструкции сверху вниз спускается, как сводка погоды, только «информация». Появление журналиста, который осмеливается на высказывания от первого лица и работает в пространстве *актуальности*, «когда еще не поздно что-то сделать», выглядит в этом пространстве как нонсенс.

Внутри замкнутого контура коммуникация как бы коченеет, утрачивает сложность и качество дискурса, постепенно превращается в рефлекс, известный по опыту с мышами: мышей научили нажимать на рычаг, чтобы получить удовольствие через вживленный в мозг электрод, и в этом эксперименте они даже забывали есть — смерть от голода не могла остановить их на пути к заветному рычагу электрического онанизма. Так — «наркотически» — смотрит передачи Соловьева массовый телезритель, но точно так же обычно потребляют «Новую газету» и ее прозападнически ориентированные читатели, то есть в том и другом случае это скорее не дискурс, а развлечение.

По метафоре, придуманной не мной (используемой в «Новой газете»), есть страна «Фейсбук» и страна «ВКонтакте», на которые раскололась смысловая Россия. Внутри этих стран никаких споров нет, потому что там вообще разные повестки, разные новости, герои и гуру, там читают, смотрят и обсуждают разные фильмы, постепенно создается разная культура и даже разный язык. В этих смысловых пространствах циркулирует не только разная «информация», но и вообще разные по своей природе смыслы («знания» в интерпретации Фуко). С этой точки зрения нет смысла говорить о «пропаганде», так как она обращается к «знанию», которое факты, как и фейки, могут только подтвердить, но не опровергнуть. В этих «практиках» и разные способы проведения досуга, то есть культура в наиболее широком смысле. Человек из другого контура безошибочно и сразу опознается как «чужой», и с ним без толку разговаривать — лучше отвернуться, чтобы не побить.

Журналистика апеллирует к «правде», но по-русски (не знаю, настолько ли и в других культурах тоже) это слово, помимо собственного (то есть такого, которому нельзя или трудно придать значение, отличное от его собственного), имеет еще и некое мистическое значение — в этом смысле «правду» не только не надо доказывать с помощью фактов, но и сама попытка ее доказать, сначала поставив под сомнение, уже есть кошунство. Любой адепт «русского мира» приведет оспаривающему его «правду» (в миролюбивом споре, какой случается по пьяни) бесчисленное количество «доказательств», хотя ни одно из них не окажется «фактом» в трезвой дискурсивной практике «Фейсбука».

Крупные исторические события способны, впрочем, в качестве *медиасобытий* перетряхивать эти дискурсивные практики, когда значительные части «публики» разом перемещаются из одного замкнутого контура в другой. Так, событие «Крымнаш» в значении некоего кода, или маркера, установило, согласно данным социологов, соотношение 86 : 14. Оно может внезапно измениться — мы наблюдали это в СССР на рубеже девяностых, а украинское общество продемонстрировало то же самое еще раз в 2014 году. Однако, существуя сто лет назад в Российской империи (включая Украину) социологические опросы, аналогичное соотношение, вполне возможно, выглядело бы примерно так же.

Пожалуй, ядро этих «популяций» составляют люди европейской (скептической) и антиевропейской (мифологической) ориентаций, то есть мутировавшие по ходу истории и в значительной мере утратившие былое образование и просто умение уважать оппонента западники и славянофилы. Разумеется, это разделение условно, и эти границы отнюдь не совпадут с обыденным делением (столь же условным) всех людей на добрых и злых, умных и глупых и даже на честных и нечестных. Это противостояние, иногда доходящее до оскорблений и драки, не означает, что в ситуации конкретной беды руку помощи нам протянет обязательно кто-то из своего же «контура» (лучше других это понимает, может быть, Михаил Ходорковский, десять лет проживший вне своего обычного — рационального — круга).

Старинная проблема рационального и мифологического дискурсов гениально сконцентрирована в четырех строках знаменитого стихотворения Федора Тютчева «Умом Россию не понять...». Славянофил и консерватор, он предлагал «в Россию только верить», что не устраивало и не устраивает западников — сторонников рационального дискурса. К сожалению, ответа на столь же традиционный для России вопрос «Что делать?» Тютчев, предельно точно сформулировав проблему, тоже не дает.

Отсутствие общего дискурса — главная болезнь и проблема, угрожающая нации. Давайте еще раз четко проговорим здесь ту мысль, что общий дискурс, как непрестанно идущий в общественном сознании процесс понимания (нацией) себя, не обязан непрестанно же приносить какие-то конкретные результаты (хотя может их приносить и приносит «попутно» в виде *действий*). Само возникновение и продолжение дискурса уже есть результат. Если это смысловое кровообращение, то выздоровление здесь есть не «действие», но, с одной стороны, следствие разумного лечения и поведения, а с другой — *необходимое условие, conditio sine qua non любых последующих разумных действий*.

Но если больному с одной группой крови влить кровь другой, в их общей, но недолгой циркуляции начнут конфликтовать антитела: результатом в зависимости от дозы окажется резкое ухудшение состояния больного или летальный исход. Так же и в противоположных смысловых контурах циркулируют слишком разные элементы: часто называясь одними и теми же словами, «антитела» просто не имеют той «валентности», которая им необходима для образования взаимосвязей. Факты не склеиваются с мифами, а упрощенные часто до междометий инвективы пропаганды не монтируются с более сложными конструкциями журналистики. Различны и темпоральность, и приемы, и формы коммуникации, и даже их цели: иногда это попытка мышления, а в другой раз и просто впрыск адреналина.

Мысль о «двух народах» не нова: Михаил Гершензон и другие авторы «Вех» (сборник был издан в 1909 году), воздавая должное правительству за то, что оно не дает одному

«народу» полностью уничтожить другой (увы, реверансы были преждевременны, вскоре уничтожение почти свершилось), сформулировали ее почти так же. А сегодня замкнутые контуры создают порой даже некоторый комфорт «среди своих» и иллюзию возможности мирного «размена коммуналки». Но Россия не Чехословакия, которую чехам и словакам удалось, как бывшим супругам, «разменять» на две страны, сохранив при этом приличия и самоуважение. И даже мирный, как долго казалось, распад СССР спустя четверть века оказывается не таким уж мирным.

Это, в общем, ситуация пока холодной гражданской войны или ее преддверие, и ответственность журналиста состоит в том, чтобы попытаться на какой-то общей почве воссоединить два «народа», которые, с учетом иных их качеств, друг без друга, конечно, нежизнеспособны. Мы части целого, теряющие связь и самоё целое — Россию, которая в таком виде ею уже и не является.

Однако бытующее среди западников убеждение, что стоит лишь передать каналы федерального телевидения каким-то неведомым правильными людям, как и общество переменится «через две недели», слишком поверхностно. Опыт пропаганды с обратным (либеральным) знаком уже проводился на нас в течение нескольких лет, и на выборах в первую Государственную думу в 1993 году избиратели ответили массовым голосованием за ЛДПР (23% мандатов, первое место). Всякая пропаганда ведет лишь к сворачиванию дискурса, когда общество, лишенное возможности проговорить и понять самоё себя, реагирует неадекватно, и победа партии или кандидата (как на президентских выборах в США 2016 года), сделавших ставку на популистскую демагогию, еще не самый худший результат. Необходим *разговор*, как бы ни был он труден, но для него нет иного языка, кроме журналистики, а этот язык убеждает гораздо медленнее, чем язык пропаганды.

ГЛАВА 12. КОММУНИКАТИВНЫЙ РАЗУМ

Теодор Адорно, ставший знаменитым благодаря исследованиям «авторитарной личности» (мы упоминали об этом в главе 3, но он еще и композитор и искусствовед), в 1964 году опубликовал книжицу, по форме скорее памфлет — «Жаргон подлинности». Переводчик предуведомляет, что само слово *Eigentlich* по-немецки может означать как «подлинный», так и «настоящий, собственный», а в том ерническом контексте, в каком его употребляет философ, мы можем читать это прилагательное даже как «почвенный».

Объектом для своих филиппик Адорно избрал между тем Мартина Хайдеггера, тогда уже классика философии. «Недавно меня снова пригласили в Берлинский университет, — цитирует он публикацию Хайдеггера 1933 года, когда тот уже стал членом НСДАП. — Я иду к своему приятелю, семидесятипятилетнему крестьянину. Он уже читал в газете, что меня зовут в Берлин. Он... своими ясными глазами пристально всматривается в мои глаза, кладет мне на плечо свою верную руку и чуть заметно качает головой...».

Для чего несомненно великий Хайдеггер так откровенно и так стилистически пошло апеллирует к *Blubo* (от *Blut und Boden* — кровь и почва)? Один из основоположников экзистенциализма, он рассуждает о смысле, но язык позитивной философии вообще не об этом, и философу приходится обращаться к языку литературы, мифологии и даже поэзии («ясные глаза» 75-летнего крестьянина, «зов», «миссия» и т.п.). В этом есть и дерзновение, и слабость Хайдеггера, приведшая его на некоторое время к восхищению фашизмом.

Кстати, у Хайдеггера был долгий, длиной в целую жизнь, прерванный, но в пятидесятые годы возобновившийся эпистолярный (а возможно, и не только, но этого никто точно не знает) роман с его ученицей Ханной Арендт. Вот уж лучшая иллюстрация той «фактичности», о которой толковал Хайдеггер: есть вещи, которые невозможно объяснить, а можно только описать, замерев в изумлении. Поэзия и есть такой описательный путь, но он и опасен — особенно когда

с криком «Хайль!» (или «Ура!») вслед за интеллектуалами по нему устремляются «множества».

«Фашизм, — замечает Адорно, — перемешивает вульгарное и элитарное». Так возникает «жаргон подлинности» — это «симптом прогрессирующего полуобразования, он как будто специально изобретен для тех, кто, чувствуя историческую обреченность или по меньшей мере упадок, изображает элиту духа». Он «уродует то высшее, что надлежит мыслить и что оказывает мысли сопротивление», и «если слова, означающие эмпирическое, он окутывает аурой, то философские понятия и идеи, напротив, размалевывает так усердно, что их суть совершенно исчезает под слоем краски».

В русской традиции, в этом смысле не менее богатой, для языка идеологии существуют свои обозначения: новояз, штампы и др. Однако Адорно подмечает важное свойство «жаргона подлинности»: изобретенный интеллектуалами, он быстро превращается в язык «масс», предназначенный для выражения не мыслей, а скорее эмоциональных сигналов-чувствований. Этот жаргон уводит от действительности именно по линии *подмены подлинного*, заменяя сложные и живые смыслы готовыми блоками. Языку журналистики, который в этом смысле является его антагонистом, приходится спорить с «жаргоном» — притом что сам он лишь до некоторой степени может обращаться к тому же жаргону.

1 мая 2016 года, когда власти Польши отказывались пропустить в Европу байкеров из клуба «Ночные волки», следовавших через Белоруссию, белорусский журналист спросил Александра Залдостанова под камеру на фоне пограничного столба, что он думает о том, что «в начале Второй мировой войны СССР выступал на стороне Гитлера». Видеозапись краткого и недружественного спора попала в социальные сети и была воспроизведена многими медиа. Страна «Фейсбук» насмеялась над Залдостановым за его невежество, а страна «ВКонтакте» восхищалась тем, как он журналиста «отшил».

На первый взгляд, этот журналист (я так и не нашел его фамилии в сетях, и это тоже что-то говорит о качестве либеральной журналистики) делает правильную вещь: имея в виду опереться на некие исторические факты, он как бы навязывает

Залдостанову дискурс о начале той войны, отмечать победу в которой «волки» едут в Европу. Но мы понимаем, что вопрос, заданный к тому же не вполне корректно, вовсе не рассчитан на ответ, а сам имеет характер провокации и задан просто на другом «жаргоне». Таким образом нельзя заставить Хирурга вскрыть тот «архив» (в смысле «Археологии знаний» Фуко), в котором заранее упакован ответ на этот вопрос. Контакта нет, Хирург пацана толкнул (хорошо, что не врезал), по обоим дискурсивным контурам прокатились волны пропаганды, и все стали еще немножко хуже понимать друг друга.

Прежде чем рассмотреть другой пример с участием тех же «Ночных волки», обратимся к концепции *коммуникативного разума*, которую сформулировал уже упоминавшийся нами Юрген Хабермас. Под таким «разумом» он понимает не какой-то институт и даже не состояние, но постоянно идущий процесс поиска и достижения согласия по наиболее важным для данного сообщества вопросам. Можно сказать, что коммуникативный разум — альтернатива или даже антоним агрессии: вектор этого процесса *инклюзивен*. Инклюзивность — важное понятие современной социальной философии, которое проще определить от противного: инклюзивные процессы и институты предполагают не исключение, а, напротив, включение разнородных частей в какое-то целое. Именно в этом смысле Хабермас говорит: никто не может быть исключен из дискурса, маргинализирован по отношению к нему.

Если мысль француза Фуко имеет как бы центробежную направленность, иллюстрируя несовместимость *исторических априори* (Залдостанова и белорусского журналиста в нашем случае), то немец Хабермас (принадлежащий, кстати, к той же франкфуртской школе, что и Адорно) мыслит центростремительно: он ищет возможность все это как-то совместить, потому что иначе понятно что, и это мы уже проходили. В *процессе* коммуникативного разума журналистика — часть этого процесса, но еще и важный его инструмент: она *проговаривает* пену эмоциональных высказываний и превращает их в пригодные для обсуждения *тексты* (об этом мы говорили в главе 6).

В январе — марте 2014 года в Зеленоградском городском суде (административно это Москва, а фактически Подмоскowie) слушалось дело по обвинению фрибайкера Юрия Некрасова в убийстве члена клуба «Ночные волки» Валерия Родителя. Некрасов застрелил Родителя из охотничьего ружья на территории гаражного кооператива в ночь на 20 октября 2012 года в ходе конфликта, которому, по его словам, предшествовал отказ Некрасова и нескольких его друзей — таких же молодых фрибайкеров — примкнуть к клубу «Ночные волки», что вызвало со стороны последних угрозы принуждения и мести.

Защита Некрасова (в которой лидирующую роль играла его младшая сестра, даже не юрист) предъявила суду сохранившуюся, на их счастье, видеозапись, из которой можно было понять, что группа «ночных волков», приехавших, по их уверениям в суде, для мирного разговора, прибыла на семнадцати автомашинах в составе примерно сорока человек. На записи были различимы предметы, напоминавшие холодное оружие, да и сам характер прохода «волков» вглубь гаражей не свидетельствовал о мирных намерениях. Запись (следствие долгое время не приобщало ее к делу) подкрепляла версию Некрасова и бывших с ним в ту ночь друзей о нападении «волков» с угрозами избить «отказников» и срезать с их безрукавок нашивки собственного клуба — в среде байкеров это равнозначно бесчестью. Началось уже не попавшее на камеру, но оставившее многочисленные улики жестокое побоище: фрибайкеры использовали газовые баллончики и подручные средства, а охотничье ружье, оказавшееся в гараже якобы по случаю (на самом деле они готовились к обороне), Некрасов собрал и применил в последний и самый критический момент.

Подробно эта история была описана мной в виде репортажей из зала суда, а затем еще раз полностью после приговора в нескольких номерах «Новой газеты» за январь — апрель 2014 года. В зал, куда я раз пять приезжал на заседания, набивался народ очень разной наружности: тут были и фрибайкеры в хипстерских кедах, в том числе девчонки, и угрюмые «ночные волки» в кожаных, толщиной в палец, жилетках с непонятными и пугающими нашивками. Поначалу возле

дверей между ними возникали потасовки, но по ходу дела они начали как-то контактировать друг с другом (и со мной) и даже шутить, притом что суду свидетели со стороны «волков» продолжали настойчиво врать.

Фактически показания в суде и их обсуждение в кулуарах складывались в дискуссию между очень разными участниками (представлявшими — весьма условно — «рациональный» и «мифологический» дискурсивные контуры) о том, что такое свобода и достоинство и каковы допустимые пределы их защиты. Участниками этой дискуссии фактически стали не только стороны, свидетели и публика в зале, но и судья Олег Гривко, и отозванный московским начальством с середины процесса прокурор Андрей Громов (мне приятно еще раз называть имена этих мужественных людей, вернувших, вопреки позиции следствия, истинный смысл правосудию в этом нерядовом процессе).

28 марта 2014 года судья Гривко освободил Некрасова из зала суда, приговорив его к уже отбытому в СИЗО сроку наказания за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Большого в условиях давления, которое на него, несомненно, оказывали высокопоставленные покровители «Ночных волков» (а в акциях этого клуба неоднократно участвовал президент В.В. Путин), он сделать, пожалуй, и не мог.

Сам Залдостанов проигнорировал и вызов в суд, и мои предложения личной встречи, которые я передавал через новых знакомых — «волков». Однако 28 марта в день приговора он был в Зеленограде, что было зафиксировано в сделанных возле суда фотографиях. Все пространство вокруг суда было запружено по одну сторону площади угрюмыми людьми в кожаных жилетках с нашивками, а по другую — мальчиками и девочками в мешковатых курточках и очочках. Независимо от характера ожидавшегося приговора назревало новое побоище, и силы были явно не равны. Но вот приговор стал известен — и все кончилось на удивление мирно, причем без всякого вмешательства стоявшей на отдалении полиции.

Я думаю, что победил коммуникативный разум, начавший формироваться в процессе общения между байкерами враждебных друг другу группировок, по поводу фактов,

которые, несмотря на лжесвидетельства «волков», становились в процессе суда все более очевидными для обеих сторон. Попытки использовать привычный «жаргон» со стороны «волков», в общем, прекратились, поскольку на нем здесь ничего нельзя было объяснить. Суд был высокоорганизованным как *дискурс*, в процессе которого участники вместе и по отдельности, не исключая судью, начинали понимать сами себя и друг друга. Возможно, к массовой драке их подтолкнул бы как раз «заказной» и вытекавший из позиции обвинения приговор за убийство при отягчающих обстоятельствах.

Конечно, у рационально рассуждающего зрителя, который смотрит на Хирурга на телеэкране, где в одной руке у него икона Божьей Матери, а в другой портрет Сталина, это в голове не укладывается. Но мы должны вполне *рационально* исходить из того, что это как-то укладывается у него голове. Он не смог бы так притворяться, его бы разорвало пополам, и используемый им «жаргон подлинности» не должен заслонять от нас того факта, что сам он — как *факт* — по-видимому, является *подлинным*: вот он — такой. Таковы же и многие другие наши с ним соотечественники, если не большинство. Значит, с ними и придется разговаривать, нравится это кому-то или нет.

Значение *мифов* в смысле идеологии тоже неправильно и глупо полностью отрицать, но следует определить их место в общественном дискурсе, оставив пространство и для журналистики, найдя такую плоскость, в которой «рациональная» и «мифологическая» дискурсивные практики могли бы конкурировать и даже дополнять друг друга — по таким правилам, которые были бы понятны всем участникам более общего дискурса. Здесь нам стоит обратиться к одной мысли Маршалла Маклюэна, о котором мы пока не говорили, а он сделал для понимания современных медиа, наверное, больше, чем кто-либо другой.

Маршалл Маклюэн (1911–1980), канадский профессор, упрямый, как лесоруб (его книгу «Понимание медиа», переведенную затем на 32 языка, сначала долго не хотели издавать как чересчур оригинальную), в начале шестидесятих годов

прошлого века, еще называя то, что мы сегодня знаем как социальные сети, «электричеством», смог предсказать многие черты и опасности сегодняшнего сетевого общества. Его идеи до сих пор столь же труднопонижаемы, сколь и великолепны, а нам сейчас пригодится одна из них, даже не основная в его книжке: о *горизонтальных* и *вертикальных медиа*.

Прежде чем развивать ее в нашей интерпретации, надо сказать, что Маклюэн понимает термин Medium весьма расширительно: например, к медиа он в одном из зигзагов своей мысли относит и памятники. С точки зрения его знаменитой формулы *the Medium is the Message* памятник — это, несомненно, *месседж* и одновременно вертикальное (как бы вертикально стоящее) медиа, транслирующее свою мысль сквозь века. Горизонтальные медиа не претендуют на такую долговечность, зато они обживают пространства: волна смысла на английском мгновенно пробегает по всем миру. Язык — это тоже «медиум» в самом широком значении (Маклюэн тоже говорит об этом, показывая, как письменность изменила человека и человечество), но вертикально-горизонтальный: каждый язык уже бог знает сколько веков и остается неизменным в своей основе, и постоянно меняется, «течет». Язык журналистики тем более специальный «медиум», именно для этого и предназначенный, но если превращать его в «памятник» — как, например, время от времени предлагают консервативные политики, запрещая использовать в нем слова иностранного происхождения, — то на нем, как на старославянском, можно будет уже только «отправлять культ», но не вести сложные дискуссии и не мыслить.

Вертикальные медиа суть культура в ее консервативном выражении, схваченная и закрепленная, например, в архитектуре. Неуважение к памятникам, к самому духу веков и городов — это бескультурие, которым чаще грешат, пожалуй, не либералы-западники, а именно что представители более консервативных государственных кругов. Сами по себе эти памятники не только не препятствие для рационального дискурса, но его постоянный предмет и его часть. Рациональная практика, пожалуй, настаивает только на том, что эти вертикальные медиа могут и должны обсуждаться по горизонтали.

Война памятников, которой неслучайно был отмечен 2016 год (в Москве вырос князь Владимир, в Орле — Иван Грозный, где-то повесили разные мемориальные доски, но их тут же чем-то облили или вовсе свинтили, и там и тут, как поганки, «сами собой» являются памятники Сталину), сразу переводится на язык журналистики и подхватывается целыми лавинами высказываний. Пока это не переводится на язык пропаганды или, хуже того, на Hate Speech или язык насилия, это нормальный, хотя и болезненный процесс.

В этом процессе надо уметь что-то и уступать или, во всяком случае, обсуждать без крика — в том смысле, что не надо так уж «ниспровергать устои», они тоже необходимы, как любому человеку и любой нации необходима наряду с «общечеловеческой» также и своя собственная идентичность. Вертикальные медиа, если их не превращать с двух сторон в непреодолимые барьеры, удерживают горизонтальные медиа от обмеления в соответствии с законом убывания смысла высказываний (об этом следующая глава).

Зеленоградская история с «волками» и ощущения в толпе после приговора еще раз убедили меня в том, что разговаривать надо и с теми, кто думает иначе, чем мы, — это невозможно только с теми, кто целиком эмигрировал в сферу развлечений. Вопрос в том, как (как на суде, где это удалось) перейти на язык содержательного дискурса и фактов, лишив партнеров по диалогу возможности или желания использовать привычный для них идеологический жаргон. Деконструкция жаргона, под которым обнаруживается снова более или менее общий язык, требует терпения и возможна только в рамках каких-то упорядоченных *процедур* и *стандартов*. Это нельзя сделать без погружения в *тексты* и *произведения* (см. главу 14), и в этом смысле текстом в истории с «волками» стали не только приговор и мои всеми читавшиеся по ходу процесса заметки, но и все, что происходило на этом суде в Зеленограде.

О значении процедур много говорит Хабермас. Он пишет о политике как о публичной сфере, где механизмы компенсации замкнутости контуров цивилизацией уже давно изобретены — собственно, это и есть политические партии, которые избиратели усаживают в парламенте вырабатывать

коммуникативный разум. К сожалению, в нынешней России этот механизм используется слабо, поскольку все партии представляют только одну из дискурсивных практик. Но мы не о политике, мы сейчас попробуем применить *этику дискурса*, которую формулирует Хабермас, к *отношениям журналистики*. Вот эти коммуникативные принципы:

- 1) *общность* — ни одна из сторон, затрагиваемых предметом обсуждения, не может быть маргинализована из дискурса;
- 2) *автономия* — все участники должны иметь равную возможность предъявлять и опровергать претензии;
- 3) *эмпатия* — все участники должны относиться к претензиям других участников на значимость с сочувствием;
- 4) *нейтральность* — различия в смысле обладания властью между участниками не должны оказывать влияния на процесс достижения консенсуса;
- 5) *прозрачность* — участники должны высказывать свои цели и намерения открыто.

Эти понятные правила могут быть, в свою очередь, сведены к одному: сложные социальные вопросы не решаются большинством голосов — это даже не демократия в современном смысле слова. Например, из того, что большинству нравится пить водку, еще не следует, что это всегда хорошо, — то же самое относится и к телевидению.

Налагая эти ясные принципы на телевизионные ток-шоу в духе Владимира Соловьева (безусловно, мастера своего дела — но какого?), мы понимаем, что это не дискурс, то есть и не журналистика. Вопрос даже не в предвзятости, заданной подбором участников, и не в умелом подыгрывании одной (и всегда одной и той же) из сторон. Главная претензия с точки зрения дискурса состоит в том, что победа в этих ристалищах присуждается по большинству голосов телезрителей. Но если бы футбольные матчи судили болельщики, определяя положение вне игры или назначение пенальти, в футбол нельзя было бы играть — кроме драки, из этого ничего бы не вышло.

Голосованием нельзя решить, кто все-таки сбил «Боинг», это не вопрос мнений, хотя можно проголосовать за то, чтобы исключить этот вопрос из собственной повестки. Но ею можно манипулировать лишь на очень короткой дистанции — она всегда возвращается уже в виде Истории: тот факт, что мы что-то не хотим знать, не делает это небывшим.

Возвращаясь к метафоре «мускулы культуры», мы начинаем лучше понимать роль журналистики и медиа как мускулов или кровеносных сосудов для смыслов, которыми различные контуры и отдельные лица, составляющие общество, должны постоянно обмениваться между собой — во избежание закупорки. Смысловой гомеостаз не может поддерживаться без журналистики. Но в отличие от пропаганды, которая утверждает негативную консолидацию, чаще отталкиваясь от образа врага, журналистика, стремясь совместить разные точки зрения, сеет сомнения. Ее коммуникативный разум гораздо более сложный процесс, который обязан развиваться и в недружественной среде.

По Хабермасу, участники рационального дискурса должны быть не только согласны по поводу его процедур, но и уверены в том, что они «обсуждают факты одного и того же мира». По поводу свободы убеждений, как мы сделали это с отцом Петром, договориться как раз легче, а вот факты — упрямая вещь в том смысле, в каком одна из сторон свято верит в совершенство американской демократии, а другая упрямо считает историческими фактами «план Даллеса» и «Протоколы сионских мудрецов». Кроме того, одними и теми же словами мы часто называем разные вещи (и таково любое общее понятие, например «благо народа») и наоборот, то есть «факт» становится еще и проблемой семиотики.

Поэтому мы здесь все время толкуем о «фактах, которым нельзя или трудно придавать значение, отличное от их собственного», а все, что может быть истолковано двояко, из дискурса, в котором участвуют стороны с разными *историческими априори*, должно быть исключено, во всяком случае на его начальном (и чреватом мордобоем) этапе. «А был ли (распятый) мальчик?»: да — нет. А сколько «волков» приехало ночью к гаражам: пятеро? Нет. Пятнадцать? Нет... Правильно: сорок!

Отношения журналистики всегда развиваются в сложных условиях социальных и политических противоречий, в одном пространстве с пропагандой и мифотворчеством, а социальные сети, лишенные выражения лиц и глаз, пропитаны состоянием апотропии. Как всякий путь, дискурс может вести к цели или куда-то в болото, в заблуждение. Чтобы идти в правильном направлении, он должен быть честен и внятен. А это и есть важнейшее требование, предъявляемое к журналистским текстам: внятность и определенность, они и определяют собственную роль журналистики между менее неопределенными и обычно более эмоциональными высказываниями на других языках.

Оксфордский словарь описывает слово 2016 года *Post-truth* так: «Обстоятельства, в которых объективные факты менее важны для формирования общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям», подчеркивая, что эта ситуация характерна для «эпохи развития массовых коммуникаций, когда истина становится не принципиально важной». В России «послеправдием» (см. также самое начало этой книжки) никого не удивишь — это, может быть, наконец тот случай, когда она опередила Запад лет на пятнадцать.

Мир постмодерна (новой нормальности, гиперреальности), с одной стороны, рассматривает все факты как относительные, в том числе предполагая метанарратив более ценным, чем факты (таков взгляд Мединского на историю о «28 панфиловцах» — см. предыдущую главу), но с другой — современные информационные технологии облегчают фиксацию и доказывание фактов, придавая им такой характер неопровержимости, каким аналогичные факты не обладали еще в недалеком прошлом.

Настоящая (не информационная) война сегодня ведется практически в прямом эфире в густонаселенных районах и городах, и в ее публично творящейся истории уже трудно что-то скрыть: все сразу же фиксируется электронными средствами слежения, в том числе зарубежными, самими воюющими или гражданским населением. Если никто не снял мобильным телефоном факт обстрела города с одной

стороны и не выложил снимки в социальные сети, это значит, что обстрел велся с другой стороны.

В доказательственную базу приговора Нюрнбергского трибунала тоже легли не только свидетельские показания, но и фотографии, сделанные в нацистских концлагерях самими офицерами и солдатами вермахта. Теперь представим себе, что у них в руках были бы айфоны, оставляющие «тяжелый контент» в облачных хранилищах. В цифровую эпоху война становится не только более лжива, но и в каком-то смысле, перед Историей, более честна, и сегодня непонятно, на что надеются создатели пропагандистских фейков, если они думают хотя бы на ход вперед. Может быть, это одна из причин забалтывания фактов и «обмеления» журналистики, о чем мы будем говорить в следующей главе.

ГЛАВА 13. ЗАКОН УБЫВАНИЯ СМЫСЛА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

В 2008 году в Вашингтоне на деньги журналистских ассоциаций был создан Музей журналистики и новостей Newseum. Это семиэтажное стеклянное здание, на фасаде которого высечен текст первой поправки к Конституции США, утвердившей среди прочего свободу слова. В экспозиции собраны газеты всего мира и едва ли не всех времен, однако фишка этого музея — несколько уходящих вдаль галерей, уставленных телемониторами. В режиме реального времени здесь передаются новости из всех стран мира, корреспонденты и телеведущие на всех языках объясняют, что происходит в эфире, и, увы, если это не правительственные заседания или спорт, то чаще всего репортажи с войн или с мест преступлений.

Newseum — воплощенный образ *глобальной деревни*, предсказанной Маклюэном. Мгновенная передача любой информации любого объема из одной точки в другую как бы упраздняет самые пространство и время, схлопывает их, но мир в результате становится не более объемным, а плоским. Это та *реальность*, которая, за невозможностью охватить ее и осмыслить, одновременно перестает быть *действительностью* (в которой еще «не поздно что-то сделать») и в этом смысле не отличается от кино. В безопасном созерцании этого «фильма», в котором по мере совершенствования цифровых технологий в режиме *life* разыгрываются уже настоящие войны и кровавые преступления, есть щекочущая нервы прелесть подглядывания. Но напрасно мы ищем в себе сочувствие — сопереживание уже за порогом психологических возможностей наблюдателя.

По условиям реалити-шоу «Дом-2» зрительские предпочтения влияют на судьбы его участников, а когда мы смотрим футбольный матч — пусть даже с трибуны, мы, напротив, не можем повлиять на его результат. Однако, сравнивая характер «потребления» этих двух шоу, мы ощущаем разницу между горячими и холодными медиа, о которой также толковал Маклюэн. Несколько переиначивая, скажем, что речь

скорее не о разной природе медиа, а о весьма различных, при их внешнем сходстве, режимах коммуникации: на футболе, не влияя на результат, мы тем не менее соучастники, а на реалити-шоу, хотя участие нам даже навязывается, взираем «из-за стекла». Здесь мы испытываем ту смесь любопытства и легкого отвращения, которое Бодрийяр описывает понятием «апотропии» — холодного отталкивания или выталкивания. К историческим аналогам такого life можно отнести разве что средневековые публичные казни, но только информационное общество делает этот режим практической повседневностью.

Убежать отсюда можно только в развлечения, «эмигрировав» из действительности, но можно и ослабить сам этот режим, переведя социально-политический дискурс в модус развлекательного. Развивая образ «глобальной деревни», мы замечаем, что высказывания здесь перестают быть рефлексией, а приобретают черты деревенских сплетен и пересудов, пародируя дискурс и часто делая его комедийным. В «глобальной деревне» появляются лидеры общественного мнения, которые высказываются не компетентно, но эффектно и многозначительно, и они сразу же обрастают кружками френдов.

Ильф и Петров в «Золотом теленке» так описывают сцену обсуждения «пикейными жилетами» (которые, «что бы ни происходило на свете, рассматривали это как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом») информации, почерпнутой ими из газеты «Правда»: « — Читали про конференцию по разоружению? Выступление графа Бернсторфа. — Бернсторф — это голова! — отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом... Сноуден — это тоже голова... Я вам скажу откровенно: Сноудену палец в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы...».

Перечитывая заново эту классическую сцену, мы словно пробегаем по ветке интернет-форума. В романе, увидевшем свет в 1931 году и описывающем события середины двадцатых (НЭП), уже подмечена тенденция, с одной стороны, глобализации мира через медиа, а с другой — провинциализации и комедийности дискурса. Спустя семьдесят лет

интернет расширил пространство и разнообразит поводы коммуникации, но ее участники повторяют те же самые бессмысленные реплики «пикейных жилетов»: «Да, Чемберлен — это голова...».

Наряду с рядовыми обитателями «глобальной деревни» выделим тех, кто постоянно и профессионально занимается созданием и передачей высказываний, то есть отношениями журналистики, находясь как бы уровнем выше (ведь «пикейные жилеты» тоже обсуждают не собственные выдумки, а *новости* из газеты «Правда»).

Одно дело масштаб «Черноморска», другое — страны, третье, допустим, Сирия, где мы никогда не были и вряд ли окажемся. Мы понимаем, что сегодня она тоже вписана в нашу актуальность, как-то влияя на наше будущее, но как? Чтобы расширившаяся реальность снова оказалась действительностью, в которой мы почувствуем себя не только объектами, но до какой-то степени и субъектами, нужны какие-то поводеры, актуализирующие для нас непонятные связи. Там, за глубиной экрана или в газете, эта функция возлагается на некий узнаваемый персонаж, который, конечно, не просто оператор, наводящий камеру на место очередного взрыва. Это телеведущий или колумнист в газете, который объясняет нам (в формате «колонки») не просто факты, более или менее понятные и по картинке, но смысл и значение происходящего (кстати, и президент, общающийся в формате прямой линии «с народом», превращается в этой роли в такого же толкователя — «колумниста»).

На бесконечных экранах в Newseum мы видим и корреспондентов в бронезилетах, и телеведущих в галстуках, а иногда еще и экспертов в студии — мы понимаем, что все это разные роли, но не всегда отдаем себе отчет в том, что корреспондент может оказаться на месте события случайно и не понимать его логики, ведущий может вкладывать какой-то собственный смысл в комментарий к тому, что мы видим на картинке, а эксперт может и вовсе нести околесицу, так как мы не всегда компетентны оценить его компетентность.

А в социальных сетях корреспондент, который установил и проверил факты (если он еще это сделал) и первым

сообщил о них «публике», уже и вовсе потерялся за спинами экспертов, которые вышли на первый план сами по себе, без всякого «ведущего». В этой точке отрыва факта от комментария уже появился и соблазн пропаганды, но, даже если мы исходим из добросовестности всех участников этой цепочки передачи смыслов, в ходе каждой новой транзакции первичный смысл меняется и как бы остывает. Упрощение по линии фактов сопровождается усложнением комментариев, так что в конце концов часто остаются уже только комментарии типа «взгляд и нечто» (А.С. Грибоедов, «Горе от ума»).

Удаляясь от события, дискурс по поводу него постепенно утрачивает основу — таков, по-видимому, общий и не новый закон *убывания смысла высказываний*, однако в мире постмодерна это явление приобретает совершенно новый размах. *Медиасобытие* может, как и встарь, иметь мало общего с событием как таковым, но случается уже практически одновременно с ним, сразу погребая факты под грудой неразборчивых комментариев.

Образ «глобальной деревни», следовательно, мы дополним тем, что все ставшие неожиданно близкими события мы видим теперь не только чужими глазами, но и сквозь призму многочисленных комментариев не вполне ясных толкователей, а в итоге у нас чаще всего получается шум: «Да, Чемберлен — это голова...».

Еще где-то в конце девяностых годов Антон Носик объяснил мне важную особенность интернет-журналистики, лежащую на поверхности, но такую, мимо которой я по этой поверхности проскальзывал: интернет с его легкостью переноса любого сообщения с одного сайта на другой убивает священное когда-то для журналиста понятие *дедлайн*. На самом деле это просто момент подписания номера в печать, когда в него уже ничего больше нельзя впихнуть, но буквальный перевод — «мертвая линия» — передает тот мистический оттенок, которым дедлайн окрашивал эту последнюю, буквально втиснутую новость: она как бы передавала запах пота и цвет крови, окрасившей рубаху притащившего ее журналиста.

В интернете новость появляется в режиме реального, не ограниченного дедлайном времени, но в ту же самую секунду

кто-то уже перетаскивает ее на другой сайт, а через пять минут она висит уже везде. При этом оказывается неважным, кто ее произвел (нашел, притащил) и на каком сайте она появилась впервые, — важен клик: куда за ней придут «пользователи», где эта новость будет распространяться и обсуждаться, остывая. (Носик объяснял мне это с коммерческой точки зрения: реклама придет не к добытчику новости, а туда, где ее раскрутят.)

Однако (это уже наше собственное рассуждение, не Носика) после многократного употребления и предсказывания факт утрачивает тот цвет и запах, которыми он обладал при передаче из первых рук, а телезритель или читатель опять же каким-то мистическим образом тоже их чувствует (или не чувствует). В этой точке размножения новости между подлинностью, еще видимой на картинке оператора (хотя оператор может быть гораздо меньше журналистом — он просто наводит камеру, куда ему скажут), и необязательностью рассуждения по ее поводу разверзается целая пропасть, в которую утекает журнализм. Черпая большинство «фактов» из комментариев в сетях, «публика» утрачивает свой нюх на подлинность, и неслучайно целые лавины комментариев порождают фейки (об этом специально говорилось на конференции в Гарварде в марте 2017 года).

Обращаясь к нашей карте журналистики, мы находим на ней, в общем-то, маловато тверди — фактов, сначала кем-то добытых из кипящего котла действительности, а затем вытасканных кем-то другим на первый план из их необозримой массы. Зато с крупными фактами мы глотаем ведра «воды»: слышим массу рассуждений по поводу, более или менее вменяемых, но, в общем, об одном и том же. Журналистика растекается и мелеет. Это теперь такой жиденький растворчик, в нем, может быть, сохраняется градус брожения, как в кефире, — вместо сорока, как положено в другом известном напитке. Это уже не шибает в голову, а должно именно бродить и шибать, чтобы завязался дискурс.

У моей давней жены был однокурсник по филфаку, такой веселый, мы еще вместе киляли. Спустя лет десять я встретил

его в каком-то из верховных советов рубежа девяностых и с удивлением узнал, что это он и есть теперь тот блестящий комментатор, который писал едкие и очень популярные филиппики из всех верховных советов. К тому времени я уже долго карабкался к журналистской славе, да все как-то кругами, заходя из далеких и трудных командировок, а он взлетел на эту гору вроде как по прямой, благодаря только бойкости языка. Конечно, он был дьявольски начитан, а у меня (объяснял я себе) не было времени много читать из-за слишком активного образа жизни (это эвфемизм). В общем, если честно, я ему завидовал. Журналистская зависть очень неприятна на вкус, и слава богу, если начинаешь понимать, что эта популярность дешево стоит: в зачет идет только то, что ты напишешь, если сумеешь, «в завтрашний номер» (а тут оп! — и дедлайн).

Этот мой приятель стал, наверное, основоположником (или одним из) тогда еще нового для нашей журналистики жанра, который в западных медиа давно известен как «колонка» (column, отсюда «колумнист»). Жанр этот ввиду его наружной легкости, дешевизны и необязательности в России быть экспертом (а кто тут не эксперт?) распространился очень широко и быстро: в газетах, на разговорном радио и в ток-шоу откуда-то явились полчища аналитиков, способных в режиме онлайн ответить на любой вопрос, касайся он политики, кино, стиральных порошков или самолетостроения.

Сейчас я прикидываю, сколько лет тот мой знакомый пишет свои колонки: 27 или 28? Иногда я все еще просматриваю их в самолетах, где газету, которая их публикует, раздают бесплатно. Он не утратил бойкости языка, а начитанность еще и расширил, но за все это время он ни разу не сослался ни на один факт, о котором мог бы сказать: «Я это видел своими глазами» — и за который рисковал бы какой-либо ответственностью.

Проблема не в самом жанре аналитики, который на карте журналистики, безусловно, должен был бы занимать подобающее ему место. Проблема в том, что, откладывая эту и беря в руки другую газету (тоже раздаваемую бесплатно), я читаю там то же самое, хотя, может быть, изложенное не столь же

бойко. Не говоря уже о «Фейсбуке». Мы попадаем все время в какую-то страну колумнистов, на карте которой нет достопримечательностей — одна «аналитика», и это, в общем, тоже становится довольно скучно.

Я не случайно заговорил о журналистском тщеславии — в этой профессии оно является таким мотивирующим фактором, от которого никуда не деться. Но если популярность (узнаваемость) ставится как цель, то самый короткий путь к ней пролегает в стороне от стержня профессии: от скрупулезной работы с фактами. Журналистское расследование или очерк приносят мало очков, особенно если пересчитать их на единицу потраченного времени. Популярность оказывается обратно пропорциональна сложности текста, когда в журналистике конфликта он по необходимости загромождается доказательствами. Зато с другой стороны манит соблазн не требующего доказательств, но громкого высказывания, а для «СМИ» так получается к тому же и намного дешевле.

Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда опубликовала на сайте КП «колонку», в общем, полностью пересказанную уже самим заголовком: «Порою жалеешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали абжуров. Меньше было бы проблем». «Мнение» породило бурю откликов в социальных сетях и в оппонирующих друг другу медиа, говорящая фамилия автора мгновенно запомнилась всей стране, газета сняла урожай в виде продажи рекламы — хотя, за вычетом провокации как таковой, в этом высказывании вообще не было никакого содержания. (Философ Максим Горюнов тоже опубликовал в «Новой газете» колонку «Колдуны и мы», где доказывал, что «если в выступлениях российских пропагандистов заменить слово “либерал” на слово “колдун”, а “либеральные идеи” на “порчу”, станет очевидна суть произошедшего с российскими СМИ», — в общем, это стоит почитать, там не длинно.)

Бессодержательные высказывания порождают наиболее яростные бури своего рода «ложных» дискурсов. Я поставил кавычки, чтобы не вступать в противоречие со своим прежним утверждением о том, что дискурс не обязан заканчиваться каким-то действием и в этом смысле не может быть

истинным или ложным — он и сам по себе уже действие. Но и всякое действие может быть осмысленным или чисто ритуальным. «Колдовской» дискурс, отсылающий к фантомам в духе вечной еврейской темы, — это всегда замкнутый круг, а не спираль: призрак, как известно, в зеркале не отражается. По характеру это развлечение, а не журналистика (что отсылает нас к проблематике главы 16), но развлечение опасное, как перевод бреда преследования в режим офлайн.

О таких опасных развлечениях и призраках на фестивале «Артдокфест» 2016 года был показан документальный фильм — расследование «Кредит на убийство». Вот его сюжет: некий отставной морской пехотинец из США, симпатизирующий русским националистам, приезжает в Россию, вступает с ними в контакт — в частности, задает вопросы о мотивах и деталях убийств таджика и дагестанца в 2007 году кем-то из их круга. По ходу картины зрители узнают, что «пехотинец» на самом деле израильский кинодокументалист Влади Антоневиц, который внедрился с этой легендой в среду русских националистов. Выводы о том, что националистов поощряют или ими манипулируют некие российские спецслужбы (или идеологические центры), остаются только предположениями, в «СМИ» написали бы «пусть они останутся на совести автора». Но за право выносить суждение автор заплатил по меньшей мере немалым риском: мы чувствуем запах его нервного пота.

Анна Политковская тоже могла ошибаться в своих выводах, но ведь это она носила воду заложникам на Дубровке в октябре 2002 года. Речь не об известности, которую она в данном случае эксплуатировала, а о том, что в разных случаях обоснованием права на высказывание может служить и риск, и сама личность журналиста или глубина знания им своего предмета. На чем основывает свое право на суждение Ульяна Скойбеда? Ведь это тоже «нравственное суждение», но оно не журналистское, его природа коренится в самой природе таблоида, которая, в свою очередь, откликается на природу человека (глава 16).

А иногда странным образом важно не столько, что говорится, сколько кто говорит, что стоит не за сказанным,

а за сказавшим. Есть такая загадочная штука, как масштаб, — это по-разному относится и к тестам, и к людям. Чтобы не сравнивать никого ни с кем из коллег, поясню свою мысль на примере Михаила Горбачева, который до последнего времени регулярно приходил на праздники «Новой газеты». Я долго мучился над его загадкой: в чем секрет масштаба, что это такое? Вот что-то лепечет старик теперь уже о своих болезнях, крихтит, а все равно в нем масштаб никуда не девается. А теперешние-то полны сил: отжимаются, подтягиваются, а в них все равно этого нет. А тут, наверное, все просто — просто Горбачев, как бы кто к нему ни относился, всегда думал не о себе. Он уже имеет право и молчать, тем более что бесконечными и чаще всего непродуманными, неглубокими высказываниями мы загоняем важнейший разговор о его роли в истории в тупик.

Высший пилотаж: есть такие журналисты, которые умеют молчать (нет, сам я этому, конечно, еще не научился). В журналистике, может быть, это и есть самое трудное. Это и тягостное, угрюмое молчание главного редактора, снявшего из номера важный и надежно доказательный материал, поскольку опубликовать его было бы слишком рискованно, но и это и то молчание, когда по инерции тебя еще подмывает разинуть рот и встрять, а сказать тебе, в общем-то, нечего. Или не стоит.

Молчание всегда «от первого лица», но его можно выразить театральной паузой, на экране это сделать сложнее, а в газете, наверное, и совсем трудно. Однако этот навык в журналистике очень важен: часто молчание — это то единственное, что журналист может противопоставить закону убывания смысла высказываний.

Говоря дальше о «журналистском произведении», будем иметь в виду, что в нем имеет значение не только наворот фактов и доказательств, но и *молчание как высказывание*, та самая пауза, которая есть признак зрелости и мастерства.

ГЛАВА 14. «ПРОИЗВЕДЕНИЕ».

ОЧЕРК И РАССЛЕДОВАНИЕ (ЖУРНАЛИСТИКА КОНФЛИКТА)

Профессиональные медиа, к которым мы обратимся в следующей «тетради», чаще оперируют готовыми *произведениями*, подверстывая их в определенном порядке друг к другу, и в этом смысле каждый удачный выпуск таких медиа тоже представляет собой сочетающее разные жанры «произведение», то есть это больше, чем просто сумма всех собранных там высказываний.

Но не каждое журналистское высказывание оказывается «произведением» — для этого оно само по себе должно стать *медиасобытием*, что не всегда можно рассчитать заранее, то есть должно отразиться от «публики», породив не только широкое обсуждение, но и какой-то сдвиг или новый поворот в ноосфере. Разумеется, масштаб такого поворота может быть очень разным, но если его не произошло — не случилось и «произведения». Пожалуй, главный признак, который выделяет «журналистское произведение» среди других высказываний (и ради которого мы его и выделяем), — это та глубина, на которую читатель (зритель, вообще «публика») в него погружается. Ведь только на определенной глубине возможна не чисто механическая, случайная встреча, а оставляющее след событие, «сретение», в том смысле, в котором о нем говорит, например, священник Александр Мень.

Произведение — это то, выражаясь современным языком, цепляет реципиента и что все участники коммуникации должны «прожить», прежде чем начать обсуждать это и делать выводы по правилам дискурса. «Проживать», и даже более интенсивно, разумеется, можно и футбольный матч или ристалище Соловьева (особенно болея за более слабого), но они не оставляют таких следов в смысле выводов и *разделения ответственности*. Это *чувство*, возникающее на стороне «публики», роднит журналистику с искусством, тем более что ради этого она также старается использовать *детали*. Разница в том, что, например, литература описывает

вымышленный мир (хотя делает это по тем же правилам, как если бы он был настоящий), а журналистика всегда описывает мир *реальный* (глава 1).

Поэт Александр Аронов в числе других замечательных стихов написал стихотворение «Если у вас нету тети...», которое после фильма «Ирония судьбы», впервые показанного по советскому телевидению 1 января 1976 года, в виде песни на музыку Микаэла Таривердиева стало практически национальным гимном. Однако Союз писателей поэтом Аронова не признавал (печататься он начал только в годы перестройки), и он с 1966-го до самой своей смерти в 2001 году работал в газете «Московский комсомолец». Одно время он даже занимал пост редактора отдела, и начинавший у него журналист Павел Гутионтов вспоминает, что над столом Аронова висели в виде своеобразных заповедей «Признаки, объединяющие журналистов и водопроводчиков». Первая заповедь гласила: «Журналисты и водопроводчики великими не бывают».

Исходя из этого, слова «журналистское произведение» мы все же берем в кавычки — чтобы оно не звучало слишком пафосно. В «Комсомолке», когда я там работал в 1989–1992 годах, высмеивалось даже слово «статья» («статьи — в Уголовном кодексе»), и любое «произведение», независимо от его серьезности и объема, называлось заметкой. Но все же и всякая заметка не просто «новость» и тем более не эмоциональный пост в «Фейсбуке» — она требует завершенности и каких-то (в том числе диктуемых версткой) формы и жанра, хотя их границы в журналистике достаточно расплывчаты.

Организирующим элементом любого «журналистского произведения» являются не факты (что, впрочем, нисколько не умаляет их значения), а *тема* — что-то такое же расплывчатое, как «жанр», что можно не столько ясно определить, сколько почувствовать. Это понятно всякому опытному журналисту или редактору, подписывающему командировку, но этот процесс (как в искусстве) не укладывается в четкие алгоритмы. На первом этапе решение принимается бинарно: кто-то вам что-то рассказывает, а вы определяете, есть ли здесь тема или нет, а может быть так, что «это не наша тема» или «здесь есть тема, но с ней придется возиться очень долго, а она того

не стоит». Поскольку люди, предлагающие тему, со своей стороны часто просят о помощи, отказывать приходится какими-то другими словами.

Если тема угадывается, вы за нее беретесь, принимая на себя риск неудачи, и начинаете ею «грузиться». Это уже другой этап — поиска и оценки фактов, а также их доказывания, причем эта сторона включает в себя еще и региональный либо тот или иной отраслевой *контекст*, в котором вы, как правило, остаетесь более или менее дилетантом. Если вы слишком увлеклись темой, тогда вы предвзяты, а тема на самом деле может оказаться и совершенно другая. Исследовав позицию той стороны конфликта, которая пришла к вам с темой, и убедившись в достаточности доказательств, вам придется теперь выслушать и другую сторону, что может перевернуть все, что было «загружено» до сих пор, с ног на голову. При этом, возвращаясь вечером в гостиницу, вы понимаете, что кто-то зачем-то вам что-то еще и недоговаривает или врет.

Это и есть *командировка* на чужой край действительности, хотя чисто физически вы можете далеко и не уезжать. Вот с такой головой вы ходите несколько дней, а иногда и несколько месяцев, пока в ней что-то не щелкает, и вы понимаете: не это означает это, а *это все вот об этом*. Тема «сложилась», хотя может еще уточняться, и теперь ее можно «отписывать», выстраивая известные и доказанные факты определенным образом, и это уже следующий этап, а «жанр» теперь диктуется, помимо заданного объема (в количестве знаков или минут), самой темой и особенностями *материала*. От работы следователя этот процесс отличается тем, что у журналиста нет никакой власти (глава 4, а также 5), а от литературного труда — тем, что журналист ничего не сочиняет, он может использовать лишь то, что есть и доказано, хотя это и оставляет определенную свободу интерпретации и в рамках этой заданности и этой свободы ставит перед необходимостью *суждения*.

В этом смысле «журналистское произведение», адресованное публике, претендует на исследование и разрешение (но не практически, а только в рамках текста) того или иного противоречия или конфликта. *Журналистика конфликта* — новый термин, который мы ввели в заголовке этой

главы, — это на самом деле синоним *журнализма* как стержня профессии, от которого она, впрочем, может отклоняться довольно далеко. Журналистика лишь в той мере журнализм, в какой она сосредотачивается на конфликтах, а не ищет, как это часто с нею бывает, каких-то бесконфликтных и безопасных зон или не описывает частные конфликты, за которыми нет социального и политического нерва — *темы*.

Проблема усложняется, если говорить о качественной, в общем-то, журналистике, которая, однако, сосредоточивается на предметах, довольно далеких от эпицентров «социально-политического». Есть такая профессия: «обозреватель еды» (автомобилей, моды и т.д.). И не то чтобы это было нехорошо само по себе или тут нельзя было бы сказать о фактах, но отчего-то становится немного жалко «обозревателя еды»: не тяжело ли это день за днем и на что тратит свой талант этот искусный автор? (Со своей стороны он, вероятно, жалеет нас, и есть за что: мы так хорошо не едим.)

Поколение тридцатилетних в сегодняшней журналистике, шарахаясь от пафоса, который по инерции тащит за собой слово «нравственность», ищет опору для этики в эстетике: правда «красива», даже если некрасива, а врать «просто противно». Между прочим, это наследие Канта, который тоже бился над вопросом о точке опоры для своего категорического императива и приходил к такому же выводу. Однако эстетизация формы иногда смещает фокус журналистики в сторону от содержания, которое теперь не стремится к эпицентру «социально-политического» и бежит от *центрального конфликта* (см. далее). Для себя я называю это болезнью «Большого города» — по названию хорошего журнала, увы, прекратившего выпускать бумажную версию. Есть искушение прокатиться на велосипеде, но недалеко. Поплывать, но неглубоко. Обращаясь к метафоре *карты журналистики*, мы понимаем, что ее необъятное море в некоторых местах может быть прекрасно в своей лазури и в ласковом песке надежных берегов, но тут мелко, а рыба — не там.

Центральный сюжет древней мифологии о противостоянии человека и богов (или о споре богов о судьбе человека)

трансформируется в сюжеты противоборства человека и власти (государства, общества, денег, криминала, вообще силы), образующие стержень более поздней культуры. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан», наверное, исчерпал бы этот дискурс, если бы он в принципе мог быть исчерпанным. Но дискурс неисчерпаем, он бывает просто прекращен. Это происходит, когда слишком много людей говорит: «Стоп, мы уже всё поняли». И наступает затмение коммуникативного разума. Но через какое-то время снова находится достаточно тех, кто, прочтя что-то в газетах, говорит: «Стойте! Мы опять чего-то не понимаем». Дискурс возобновляется, и это и есть прогресс, тем более что он всегда возобновляется не с чистого листа. В процессе осмысления обществом самого себя журналистика умирает последней и первой затем начинает подавать признаки жизни, когда это затмение рассеивается.

Журналистика конфликта, рассказывающая о том, как человек страдает и побеждает или, наоборот, проигрывает и иногда гибнет, образует область с наибольшим удельным весом «руды журнализма». Журналистика *антропоцентрична*. Политика, конфликты и войны сгущаются к ее «ядру», но оно оказывается полым, если там нет человека. Очерк из жизни шахтеров или мигрантки-продавщицы — это такая же История, как и решения, принимаемые властью. Но ее труднее записывать: тут не выедешь на сенсации, нужны мастерство и, пожалуй, та любовь, которая совсем не есть ангажированность.

В декабре 2016 года Виталий Манский показал на им же организованном фестивале «Артдокфест» свой фильм «Родные». Пригласительным билетом в зал служила открытка со старой фотографией, вероятно сороковых годов: дородная женщина средних лет — это бабушка Манского, две девушки и две девочки, одна из девушек его мама, остальные — ее сестры, то есть его тетки. Это, вероятно, Львов, тогда уже, наверное, советский — Западная Украина была присоединена к СССР по пакту Молотова — Риббентропа в 1939 году. Жизнь разбросала сестер по разным городам, сам режиссер вырос во Львове, учился и работал в Москве, а сейчас уехал в Латвию, а мама осталась во Львове, как и еще одна из сестер

с детьми; дети другой уехали в Одессу, одна из теток с сыном попали в Симферополь, еще какой-то их общий двоюродный дед оказался в Макеевке под Донецком.

В 2014 году Манский задумал свой фильм не просто через «я», а через историю семьи, и в течение года снимал свою родню за разговорами об их общих и разделенных судьбах и за обыденными делами: мама готовит яичницу, тетка гуляет с собакой, двоюродная сестра делает маникюр... Эта сестра-маникюрша ближе к концу фильма провожает сына в армию, на войну в Донбасс. Дед-шахтер из Макеевки на ту же войну смотрит иначе, как и тетка в Крыму. Вперемешку с неприукрашенными, но узнаваемыми, родными планами бывших советских городов мы слышим разговоры о родине, о судьбе и собственной идентичности, а иногда и ругань между русской и украинской родней. Это заставляет и улыбнуться, и ужаснуться, и — что, наверное, самое важное — спроецировать все это на себя, своих родных и друзей. Отвечая на вопрос из зала после просмотра, Манский объяснил, о чем, на его взгляд, получилось у него кино: о противостоянии про- и антизападнических убеждений при попытке разрешить этот старинный для Российской империи спор с помощью силы и оружия.

Фильм держится на конфликте человека и власти, хотя он вроде бы о чем-то другом — личном и обыденном. Его можно посмотреть на YouTube, но к показу на большом экране, в отличие от Германии и Прибалтики, где он вышел в прокат, в России фильм не разрешен: нет прокатного удостоверения, и это снова *конфликт*. Конечно, такая журналистика несовместима с телевизионными картинками на ту же тему. Хотя там вроде бы тоже есть тот же самый конфликт и даже гремят взрывы, он не исследуется, не происходит погружения на ту глубину, где только и может родиться водоворот дискурса.

За любым высказыванием всегда стоит то или иное противоречие, но журналистское высказывание и описывает конфликт, и им же формируется. Журналистика внутренне противоречива, она развивается внутри социальных и политических конфликтов, но со своей стороны предлагает не их разрешение и тем более не применение силы для этого,

а лишь публичное обсуждение тех конфликтов, которые считает общественно значимыми.

В конечном счете жанр «журналистского произведения» определяется особенностями, во-первых, того конфликта, который в нем описывается; во-вторых, другого конфликта, который может, в свою очередь, спровоцировать это высказывание. Слова Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного», сказанные о театре, в полной мере относятся и к журналистике, но здесь надо делать поправку на то, что она, даже при попадании в тему и при яркой подаче материала, вынуждена оперировать еще и скучными доказательствами.

Где-то в этой точке расходятся, хотя затем могут снова переплетаться, два главных, а пожалуй, и единственных направления в журналистике: *очерк* и *расследование*. Очерк — это больше о людях, деталях, которые требуют скорее зоркого зрения и оточенного пера, нежели доказательств. Расследование же всегда связано со злоупотреблениями властью и поэтому по необходимости загромождается доказательствами, но и здесь тоже на другой стороне конфликта оказывается человек, который страдает от этих злоупотреблений или борется с ними, а без этого второго полюса расследование окажется только уголовным, но не журналистским: только человеческое измерение помещает его в *дискурс*.

В конечном счете и любая новость, репортаж, аналитика и даже иллюстрация могут быть сведены к этим двум направлениям, так же как любое интервью сообщает нам что-то об интервьюируемом (и это очерк) или интервьюируемый сообщает нам что-то о сильных мира сего и своих взаимоотношениях с ними (и это элемент расследования). А если кто-то хвалит власть, такая заметка перемещается по карте журналистики в сторону пиара, хотя может сохранять и журналистское измерение, если там присутствует *человек*.

Как об отдельном жанре, приобретшем в последнее время самостоятельное и, увы, подчас самодовлеющее значение, можно говорить об антикоррупционных *финансовых расследованиях*. Расцвет финансовых расследований (не только в России) связан как с ростом гражданской активности, так и с появлением и освоением методов работы с базами

и массивами данных (Big Data). Это делает журналистику конфликта одновременно и более острой, и более скучной: доказательства начинают перевешивать в тексте «человеческую» сторону.

Такие журналистские (остающиеся таковыми по смыслу) расследования часто ведут не профессиональные журналисты, а гражданские активисты: актуальнейшие расследования появляются в «блоге Алексея Навального» и на сайте Transparency International Russia (которые трансформируются тем самым в регулярные медиаплощадки). Это до некоторой степени меняет и сам взгляд на журналистику: центральный сюжет с участием человека в финансовых расследованиях не то чтобы отсутствует, но он оказывается не прописан, не показан, не дополнен и не уравновешен очерком. Переусложненные за счет доказательств и, увы, становящиеся однообразными антикоррупционные расследования теряют энергию высказываний, и это происходит на фоне того, что конкурирующие медиа предлагают той же публике блестящий мишурой и разнообразный развлекательный «контент».

Поскольку факты, которые с большим трудом и риском добываются в журналистском расследовании, и мифы, как главный строительный материал пропаганды, циркулируют по различным смысловым контурам, для запуска общего дискурса, возможно, эффективнее других жанр *очерка*. Очерк не ищет сенсаций и скрытых коррупционных связей, сам по себе ни с кем не спорит, он лишь фиксирует для общества картину его самого и того места, которое занимает в нем человек. Очерк, в конце концов, оперирует отсылками к таким образам действительности, которые узнаваемы в их обыденности всеми участниками дискурса, независимо от их приверженностей и убеждений и даже от контуров, в которых они еще одинаково «замкнуты» — они же выросли в одной и той же стране.

Вообще же, жанр (и не только в журналистике) — это скорее рамка, которая заранее задается отдельной заметке, или целому изданию, или некоторым его разделам, например «последней полосе». Это скорее набор приемов, с помощью которых публику заставляют смеяться (фельетон) или

плакать (мелодрама). Жанр, с одной стороны, разрешает то, что в другом жанре было бы неприемлемо, а с другой — не позволяет выходить за рамки. Например, журнал *Charlie Hebdo*, ненависть к которому вылилась в теракт против его журналистов, это на самом деле лишь рамка, внутри которой никто не имел цели никого оскорбить, тем более что этот журнал, очень соответствующий французской традиции, глумится над всем подряд, а не выборочно. Но в обществе с другими «историческими априори» это может быть не понято, и общий дискурс заменяется убийством.

Очерк скорее запускает дискурс, погружая его участников на ту глубину, где они все могут встретиться и где есть дно, от которого они могут оттолкнуться. Расследование — это скорее уже сам процесс рефлексии, хотя первая публикация о его результатах может играть и роль детонатора, взрывающего общественное сознание, но всегда в какой-то его части, притом что другие остаются в покое.

В конце концов, в той модели дискурса, в которой мы рассматриваем *отношения журналистики*, жанр того «произведения», которое сумело запустить рефлексию или изменить ее направление, оказывается не так важен, как этот самый результат.

Но пробиться к «публике» журналистике, независимо от качества «произведения», его содержания и глубины, становится все труднее — в этом причина и отмирания трудоемких и сложных жанров, не пользующихся спросом, и той провокативности, которая иногда вместо рационального дискурса запускает механизмы агрессии.

Проблема в том, что «публика» эмигрирует в сферу развлечений, и этот ее интерес (или отсутствие интереса) начинают эксплуатировать все больше «СМИ».

ТЕТРАДЬ IV. КАРТЫ МЕДИА И «КОНТЕНТ»

ГЛАВА 15. ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИА: ТОПОС

В начале восьмидесятых годов прошлого века, преподавая еще «советское право» во ВГИКе, что оставляло мне довольно времени для любительских занятий журналистикой, я раз или два в неделю, набив портфель отпечатанными на пишущей машинке заметками, объезжал по кругу разные редакции: заглядывал в «Известия» на Пушкинской площади, садился там же на маршрутку № 5 и ехал на улицу Правды, где находилась в то время «Комсомолка», оттуда шел пешком в сторону Савеловского вокзала, напротив которого в «свечке» сидели журналы «Огонек» и «Крокодил», а иногда по дороге заглядывал и еще куда-то. Заметка, которая не вызывала никакого интереса в одной редакции, могла «пойти с колес» в другой. Так продолжалось до тех пор, пока я не был приглашен в штат «Комсомолки» в 1989 году, где стал первым в ее истории беспартийным обозревателем.

Разумеется, в то время я мечтал попасть в штат — тогда никакого интернета никто еще не мог себе даже вообразить, и печататься можно было либо в официальных изданиях, либо в самиздате. Штатная должность в редакции — да еще обозревателя! — открывала для меня в журналистике совершенно иные возможности, а лукавить уже не было нужды: это было удивительное и «неестественное» время, когда «публика» в самом деле жаждала именно правды. Но и в прежней моей беспартийной независимости были, конечно, свои плюсы, и этот запомнившийся вкус свободы не только облегал мне потом уход из тех «СМИ», где у меня почему-то не ладилось с начальством, но и придавал уверенности там, где (как в «Новой газете») я чувствовал себя частью единого целого — редакции.

«Новую газету» в апреле 1993 года создали два десятка журналистов, которые так же свободно, хотя и не сказать чтобы легко, ушли из «Комсомолки» в ноябре 1992-го, когда нами был проигран спор о ее дальнейшей редакционной политике. Об этом я расскажу подробнее в главе 19, а сейчас это лишь иллюстрация процесса журналистской миграции — как индивидуальной, так и групповой: целый остров журналистики вместе с читателями и со всеми их отношениями отплыл от своей альма-матер, чтобы спустя годы вырастить собственный и совсем непохожий на прежние *топос* (см. далее). Эти миграционные процессы в журналистике происходят постоянно, появляются новые авторы, уходят или перебегают старые, с той лишь разницей, что теперь никуда ездить нет нужды — заметки пересылаются по электронной почте.

Так же как рынок основывается на свободном отношении товаров, так и отношения в сфере смыслов конкурентны и основываются на *свободном обращении высказываний*. Как «товары» здесь могут рассматриваться и отдельные *журналистские произведения*, и производящие их *журналисты*; на этом «рынке» также могут вводиться или возникать монополии (так было, когда я начинал этим заниматься, и в другой форме возвращается теперь — см. главу 17). Но если мы согласились, что главный импульс журналистского высказывания — это само желание высказаться, а не заработать на этом деньги (глава 3), то следует признать, что и конкуренция здесь развивается по особым законам. Пожалуй, и «покупатель» заглянул сюда не столько что-то купить, сколько «побазарить», вступить в процесс коммуникации. Как потребитель, он ищет на этом рынке возможность сформировать, а чаще подтвердить собственное мнение (так же, как в универмаге он подбирает себе гардероб) и в конечном счете тоже высказаться, пусть даже где-то в другом месте или про себя.

Мануэль Кастельс, озабоченный «властью коммуникации» (его книга так и называется), обращает внимание на особую роль «операторов сетей», имеющих возможность «бинарно» включить-выключить любую связь в них. Разумеется, их административные и технические возможности огромны, они могут вырубать целые каналы, но и «операторы»

не в состоянии полностью контролировать все смысловые потоки, обтекающие любые препятствия, как вода. Тем более они не могут превратить каждый потенциальный второй полюс коммуникации в пассивный бомбардируемый объект. Если это не радио в тюремной камере, за каждым из них остается возможность прекратить эти отношения в одностороннем порядке: свернуть газету, выключить телевизор, забанить френда.

Однако свободой в этих отношениях обладают и авторы высказываний — в итоге это они выбирают площадку (медиа), а следовательно, и ту аудиторию, которая регулярно ее посещает. С этой площадкой, если она уже набрала влияние и у нее есть бренд, автор, конечно, должен еще как-то договориться, а она рассчитывает, что он, в свою очередь, увеличит ее посещаемость, но это уже их внутреннее дело. В отличие от чиновника журналист — это «лицо свободной профессии», он может, конечно, пойти на службу в «СМИ», но при таком характере отношений изменит свой журналистский окрас.

При взгляде с этой стороны мы видим, что медиа по отношению к высказываниям вторичны — они возникают и формируются в качестве *узлов коммуникации*, или своего рода пересадочных станций, вокруг которых собираются определенные высказывания, а вместе с ними, разумеется, и сами журналисты, и приверженная им «публика». Поскольку каждый автор хочет быть услышанным, он упаковывает свое высказывание как умеет, придает ему товарный вид и блеск и выбирает ту площадку, на которую может запрыгнуть. К узлам и платформам, набравшим высокую популярность, выстраиваются целые очереди, но их редакционные портфели переполнены, и после неудачных попыток высказывания вместе с авторами отсеиваются и распределяются по другим площадкам.

В таком смысле медиа (необязательно профессиональные) образуют то, что Мераб Мамардашвили обозначает (часто используя это слово в своих работах — лекции о Прусте у него так и называются: «Психологическая топология пути») как *топос*: некое особое, не физическое, хотя и вовсе не мистическое пространство, где определенным образом,

но не как попало собираются смыслы: нашей частной, но также и нашей (общества, общины, круга друзей, нации) общественной жизни.

Аналогичные по значению топосы возникали и до появления печатного станка и продолжают появляться офлайн и сегодня — такова была афинская агора и остается (хотя теряет популярность из-за интернета) Speakers' Corner в Гайд-парке, а в нынешней России такую роль играла, пока ее не объявили «иностранным агентом», «школа Лены Немировской», а сейчас, например, обретает «Ельцин-центр» в Екатеринбурге. Юрген Хабермас подробно исследует, как в странах Западной Европы XVIII—XIX веков «публичное резонерство» расцвело и в появившихся литературных (нравоучительных) журналах, и в кофейнях, причем оба «института» дополняли друг друга и играли одну и ту же роль. С появлением печатного станка пресса на несколько столетий просто захватила первенство в формировании таких топосов, ведь читать газету комфортней, чем переться куда-то слушать ораторов. Радио, а затем и телевидение привели оратора к нам домой, но суть отношений не меняется: он выбрал вот эту площадку и, соответственно, эту аудиторию, а мы можем его слушать или, если он нам не нравится, уйти на другой канал или взять в руки другую газету — сменить *топос*, а в результате нечто изменится и в нем самом.

Узлы обмена общественно значимыми высказываниями как выгородки публичного пространства (его следует отличать от практики общения между конкретными людьми) существуют в любых обществах и при любых режимах, хотя режим может существенно влиять на «объем трафика», делая появление на публичной площадке рискованным даже для адресатов, а не только для авторов высказываний — таков был советский самиздат. Но и сегодня в России можно получить два года за репост «экстремистского высказывания» (примеры, пока эта книжка будет готовиться к печати, вероятно, подоспеют новые), а это, в общем, то же самое, что статья УК РСФСР за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

Часто бывая в регионах для сбора журналистского материала и приезжая туда всякий раз, словно в другую страну

со своими особыми центрами власти и своим политическим режимом, я понимаю, что и смысловое пространство в них ограничено по-разному: где-то сохраняются легальные узлы обмена смыслами в виде официально зарегистрированных «СМИ», где-то они формально существуют, но, по сути, топосами уже не являются, а важные смыслы группируются на форумах, известных лишь их участникам. В масштабе страны зарегистрированные медиа, квалифицированно перенаправляющие потоки высказываний, еще существуют, но они обычно связаны с событиями также федерального масштаба. А в регионах таких узлов может уже и не быть (их место заняли фейковые «СМИ» — см. главу 18), но это не означает, что отношения журналистики здесь больше не образуются, — они перетекают куда-то не в «СМИ».

Большинство определений журналистики подходит к ней со стороны спроса и путает ее с медиа: чего ожидает от них общество и за что оно согласно платить? Мы же пытаемся сейчас объяснить *феномен журналистского* со стороны предложения: как появляется тот продукт, который порождает спрос, а следом за ним уже и массмедиа как своего рода универмаги для его удовлетворения? Ведь песни и пляски тоже возникли сами по себе, без всякого распоряжения сверху и раньше, чем организованные концертные площадки.

Это позволяет нам не только утверждать, что журналистика и медиа не одно и то же, но и выдвинуть гипотезу, по которой *журналистика формирует медиа, а не наоборот*. Высказывания, концентратом которых является журналистика, и медиа, несомненно, нуждаются друг в друге, но вопрос в том, кто из них в ком или в чем нуждается больше. Он может показаться бессмысленным, если не поставить его в предельной форме: может ли журналистика существовать без медиа? Современный мир однозначно отвечает на этот вопрос да — например, в форме блогов. А могут ли медиа прожить без журналистики? На самом деле тоже да, и мы в этом еще убедимся, но тогда это уже не медиа, а некий другой феномен-симулякр (деструкция термина «СМИ» нам еще предстоит в главе 19).

Наша позиция заставляет взглянуть на процессы, происходящие в сфере медиа, не со стороны их владельцев или

«операторов», а со стороны журналистов, ведь до «захвата островов» еще далеко. Такой взгляд лучше отражает современное состояние той сферы, где журналисты вместе со своими прежними и будущими высказываниями и даже вместе со своей аудиторией остаются свободными, мигрируют от одного топоса к другому, где постоянно появляются новые, в том числе непрофессиональные и ранее неизвестные, авторы высказываний, сами выбирающие, к какому из островов пристать.

Маршалл Маклюэн, с которым мы познакомились в главе 12, придумал разделить все медиа на горячие и холодные по признаку того, что холодные притягивают тепло от «публики», а горячие и так уже горячи. К первым он относил, например, телевидение, а ко вторым — радио. С его конкретной классификацией горячих и холодных медиа можно не соглашаться, но сама мысль о том, что в некоторых случаях они скорее приглашают аудиторию к участию в какой-то общей деятельности, а в других, напротив, такое участие скорее отторгают, чрезвычайно плодотворна.

Эти мысли Маклюэна перекликаются с тем, для чего другой философ — уже знакомый нам Жан Бодрийяр — придумал специальный термин *апотропия*. Мы уже использовали его в главе 2 и других, но я напомним, что это «холодное отталкивание» или выталкивание, свойственное, по Бодрийяру, медиа массового общества, словно окружающее их электромагнитное поле. Конечно, Бодрийяр, а также Маклюэн и Кастельс не различают журналистику внутри медиа — они для этого слишком заворожены самим феноменом массмедиа как чем-то уже совершенно нечеловеческим. Наверное, нескромно ставить себя рядом с этими гигантами, но мне кажется, что эти невидимые препятствия к соучастию аудитории все же «вытекают» не из технических (как выходит у Маклюэна) характеристик медиа, а из особенностей и типов высказываний или сообщений, из того, что, собственно, эти медиа в данный момент транслируют — журналистику или что-то другое (рекламу, погоду, сообщения власти).

Апотропия скорее свойство некоторых типов коммуникации, а не медиа и ни в коем случае не свойство журналистики,

которая *немыслима без второй половины в виде участвующей в коммуникации «публики»*. Однако эти философские идеи или даже образы позволяют нам увидеть, как в *отношениях журналистики* все уже зашевелилось и пришло в движение — началось образование *топосов* в виде каких-то регулярных связей и сгущений высказываний вместе с их авторами и «публикой», которая следует за потоками смыслов так же, как прикормленная рыба.

Стоит, однако, обратить внимание на одну особенность профессиональных медиа, которая преследует их как родовая травма. Традиция просветительства, возникшая одновременно с книгопечатанием и во многом благодаря ему (до этого она имела вид миссионерства и не могла рассчитывать на подобные масштабы), не исключает свободы обращения высказываний, но предполагает скорее вертикальные, чем горизонтальные отношения между участниками коммуникации. В результате возникшие в этой традиции прежние медиа несли (и несут) на себе неизгладимый отпечаток снобизма. Для России, где разрыв в образовании между читателями и писателями в самый момент появления газет был, вероятно, значительнее, чем в Европе, это до сих пор особенно характерно, хотя сам назидательный тон как раз и вызывает у публики ту самую апотропию.

До появления интернета и социальных сетей профессиональные журналисты позволяли себе высокомерно считать моментом *возникновения журналистики* выход сюжета в эфир или номера из печати. Хотя традиционные «СМИ», опирающиеся на рекламу, и прежде старались измерять реакцию аудитории, но лишь в виде безликого «тиража» или «рейтинга», относясь к ней как к «массе». В ответ на это былое высокомерие сегодняшний читатель часто тоже не замечает (не запоминает) «СМИ» и самих журналистов за высказываниями, которые доставляют ему социальные сети; важнее оказывается не то, кто автор высказывания и где оно было размещено первоначально, а то, кто его перепостил или на каком сайте оно замкнулось как коммуникация «множеств».

В интернете процесс формирования и распада медиа в виде платформ высказываний (вместе с их авторами и «пу-

бликой») изменился главным образом в смысле темпов: принцип свободы, ранее ограничивавший их чисто физически (надо было сходить и купить газету), тут реализовался абсолютно. В результате в интернете конфигурация этих узлов стала более зависимой от «публики» — теперь каждый реципиент создает себе собственное «СМИ» в виде ленты в «Фейсбуке», которая сразу же доставляет ему все что нравится.

Конечно, медиа нечто большее, чем совокупность появляющихся там высказываний, — это бренд, своего рода ОТК, удостоверяющий профессионализм и надежность в первую очередь фактов, на которые опираются высказывания, тем самым известный бренд (включая также имена известных авторов) гарантирует и более или менее устойчивый «пассажиропоток». В качестве пересадочных станций медиа играют важную роль в формировании трафика, расширяют круг адресатов, налагают собственную проекцию на содержание высказываний. Но сами по себе интернет и социальные сети не становятся медиа в том смысле, о котором мы сейчас говорим, они не острова в океане, а сам океан — среда обитания высказываний. Но коммуникации в сети становятся еще более стихийными, а журналистика оказывается сильнее рассеяна и размазана по ноосфере.

Растекаясь слишком свободно, захлестывая смысловое пространство, потоки в этом необъятном океане теряют соль согласно *закону убывания смысла высказываний*. Но главная проблема для журналистики не в этом, а в том, что она, тем более «с высоким содержанием руды», вообще становится на общей карте «СМИ» такой же редкостью, как и драгоценные металлы.

ГЛАВА 16. КАРТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ. ЭКСПАНСИЯ ЖЕЛТЫХ

Диана Шурыгина. Я не уверен, что к моменту выхода этой книжки кто-нибудь еще будет помнить, кто это такая, а я сам никогда бы этого не узнал, если бы не прочел у себя в газете телеобзор Ирины Петровской от 10 марта 2017 года. На тот момент по рейтингу в поисковике «Яндекса» Диана Шурыгина уступала Владимиру Путину всего в 6,5 раза, зато обгоняла Дмитрия Медведева в шесть раз и Алексея Навального более чем в десять раз.

Шестнадцатилетняя Диана, жительница Ульяновска, годом раньше легко согласилась поехать на квартирную вечеринку к малознакомым людям, где, по ее словам, немного выпив, уснула, а проснувшись, обнаружила себя уже не девушкой. Юноша Сергей не пытался скрыться, а лежал рядом. Диана позвонила родителям, которые отвезли ее к врачу, было возбуждено дело об изнасиловании, и Сергей получил сначала восемь лет лишения свободы, но затем срок был сокращен (возможно, благодаря участию в телепередачах) до трех.

31 января 2017 года Диана впервые появилась на Первом канале российского телевидения в «ток-шоу» Андрея Малахова «Пусть говорят», участники которого довольно предсказуемо обвинили в произошедшем ее саму. Надо сказать, что эта история стара как мир, во всех странах существует обширнейшая судебная практика по таким делам. С содержательной точки зрения, в общем-то, лишь эту практику и можно обсуждать, однако Андрей Малахов раздул историю Дианы на пять (!) выпусков своего «ток-шоу» на всю страну, благодаря чему Диана и стала «звездой», заплатив, правда, за это большими неудобствами при общении со знакомыми и незнакомыми в родном Ульяновске. Малахов, отвечая на вопрос редкого вменяемого участника «ток-шоу», зачем он это делает, откровенно сказал (я цитирую по Петровской): «Сегодня все делают деньги, на чем могут. Это рейтинг».

Для нас — я имею в виду и себя, и всех тех, кто уже дочитал книжку до этой главы, — как для приверженцев главным

образом *рациональной дискурсивной практики*, в самом феномене популярности «звездных историй» таится некая загадка. Мы знаем тем не менее, что журнал «Караван историй» читают не только люди, которым совсем нечего делать, мы и сами его почитываем, когда нам временно нечем себя занять в самолете или в очереди в парикмахерскую, а такого рода чтиво подвернулось под руку. Но не феномен сам по себе нас сейчас занимает, а вопрос, *журналистика ли это*. Вроде бы да — по форме, тем более что эти истории иной раз могут быть хорошо и увлекательно написаны, но все же скорее нет — с точки зрения рационального дискурса история бедной Дианы исчерпана в первую же минуту его «вращения», далее она уже не дает нам ничего для понимания себя и действительности, а служит, наоборот, для отвлечения от нее.

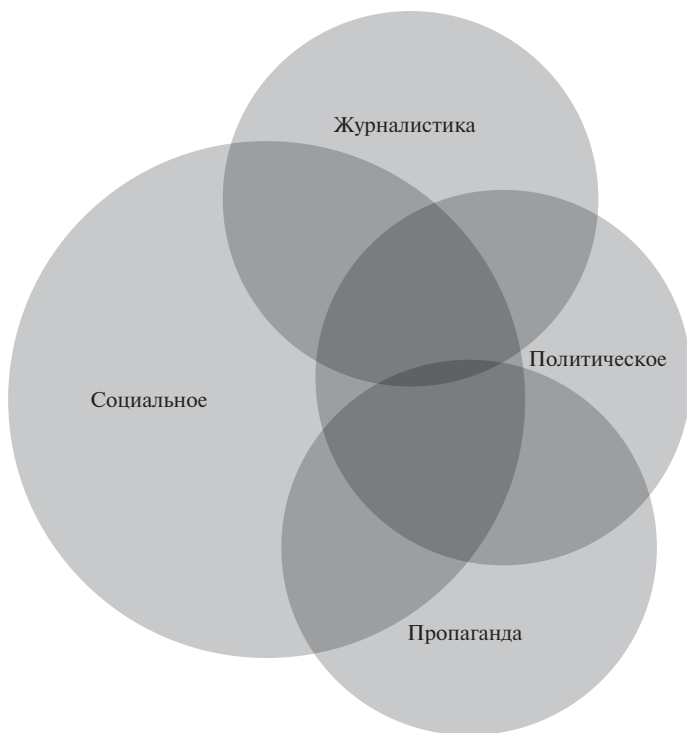
Но именно такого рода истории и составляют основную (в принципе, это можно было бы и сосчитать, но тут нужно специальное исследование) часть «контента» того, что мы пока еще по привычке называем «средствами массовой информации».

Мы продолжаем набрасывать *карту журналистики* и пытаемся определить ее центр и периферию. По аналогии и наряду со сферой социального и сферой политического, которые — за невозможностью сформулировать их границы более отчетливо — выделяют современные политические философы, мы очерчиваем сферу журналистского, также определяемую скорее интуитивно. Их взаимоотношения примут вид пересекающихся кругов (см. на рис. справа). Сразу добавим сюда и пропаганду, хотя и противоположную журналистике, но появляющуюся в том же самом смысловом пространстве.

Но и внутри собственной карты журналистика оказывается очень разной — не только по качеству, но и прежде всего по процентному *содержанию руды*, которую, чтобы подчеркнуть необходимость хотя бы минимального ее наличия в этом сплаве, всегда более рыхлом, мы уже обозначили выше как *журнализм*. Журналистика «сгущается» по мере приближения к политическому и социальному, здесь тяжелеет — иногда до критической массы — сам удельный вес ее вещества. Мы фиксируем таким образом рельеф журналистики — где-то он

поглубже, где-то помельче, а сама она пожиже. Мы можем рассматривать эту *руду журнализма* как признак, которым сильнее или слабее может быть окрашено и отдельное высказывание (сюжет) как в, так и вне «СМИ» (например, в блоге), и любое медиа в целом.

Как традиционные, так и вновь появляющиеся медиа могут не концентрироваться только на социальных и политических процессах, но освещать также спорт, моду, погоду, «жизнь животных» и т.п. или лишь до какой-то степени политические и социальные процессы, такие как театральная жизнь. Как в киоске «Пресса», откуда изъяли сигареты, но оставили почтовые открытки, так же и в газетах (на сайтах, в передачах радио и ТВ) всегда есть некий набор «товаров», многие, если не большинство, которых не имеют



к журналистике прямого отношения: реклама, кроссворды, полезные советы — и далее по мере приближения к границе журналистского: рассказы о спортивных командах «нашего района», конкурсах цветоводов и т.д. А пропагандировать можно и здоровый образ жизни, имеющий отношение к социальному постольку-поскольку.

Посмотрим с этой точки зрения, что представляет собой типичная российская газета, например областная, которую мы листаем где-нибудь в аэропорту. Пусть первые полосы с портретом главы администрации в окружении детей (ветеранов, доярок и т.д.) — это неизбежная пропаганда, а сообщения на внутренних полосах несут в себе какую-то информацию, иногда даже умеренно критическую. Однако листая дальше или, наоборот, начиная с последних полос (как чаще всего и читаются такого рода издания), мы найдем, что их содержимое: кроссворд, как солить капусту, душераздирающая любовная драма, поимка маньяка и даже олимпийские игры, проходящие в каком-то совершенно другом мире, и т.п. — это *и не журналистика, и не пропаганда*, а какое-то совсем иное измерение — и не факт, что действительности.

Отношения журналистики (и пропаганды) всегда развиваются в том же пространстве, где существуют и другие отношения, *отличающиеся от них не формой, а содержанием*, а с точки зрения журналистики скорее даже *бессодержательностью*. Обсуждение футбольного матча или развода селебрити по форме мало чем отличается от дискуссии по поводу важного законопроекта или девальвации рубля.

Внутри этих дискурсов всегда есть инициаторы — чаще всего профессионалы, которые положили им начало, и, с другой стороны, «публика», подхватившая, комментирующая и транслирующая дальше их высказывания. Различные сферы интересов и, соответственно, различные медиа (как платформы коммуникации) конкурируют одновременно за тех и за других. С коммерческой и вообще практической точки зрения главной заботой становится широта охвата аудитории, но туда, где концентрируется аудитория, а следовательно, и деньги, приходят и профессионалы, умеющие «делать медиа» и создавать истории.

Развивая метафору карты журналистики, мы понимаем, что какая-то коммуникация завязывается и вокруг бюста Анны Семенович (которым смысловое пространство страны пронизано тотально: от главных каналов телевидения до черно-белых районных газет), но она никак не помогает ее участникам разобраться в той действительности, в которой они живут и в которой, единственной, для этого существуют онтологические основания. С точки зрения журналистики, которая занимается анализом действительности, широкая сфера «занимательного», образует отвлекающий шум, с которым она вынуждена жестко конкурировать, а порой под него и подделываться, чтобы быть услышанной.

По сути, конкуренция ведется за время: рабочее — журналистов и свободное — «публики». Карл Маркс понимал идею прогресса как борьбу за *свободное время*, или «пространство человеческого развития», буквально за время «свободы для возвышенной деятельности». Он оказался прав в том, что «всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени»: технический прогресс (в том числе в России) привел к тому, что человечество выиграло пока не столько в борьбе с бедностью, сколько в появлении массы свободного времени у всех. А утопизм Маркса проявился в том, что он, наверное, слишком хорошо думал о людях и их стремлении к «возвышенной деятельности»: самый большой трафик в интернете генерируют отнюдь не образовательные, а порносайты.

С этой точки зрения, хотя главным врагом и антиподом журналистики по определению остается пропаганда, главным конкурентом их обеих оказывается таблоидная, или желтая, журналистика. Карта журналистики, которую мы продолжаем набрасывать, оказывается сразу же *не двух-, а трехмерной*: если по оси журналистика — пропаганда спор ведется о том, что есть *подлинное*, то развлечения утаскивают коммуникацию вместе со всеми ее участниками, словно в воронку смерча, в какое-то такое место, где вопрос о подлинности уже и не стоит, а *современность* (как время действия) сворачивается и исчезает.

Изменим масштаб карты: компания PricewaterhouseCoopers опубликовала доклад «Всемирная индустрия развлече-

ний и медиа: прогноз на 2015–2019 годы». Глобальный рынок, сообщается здесь, охватывает тринадцать основных медийных секторов, в том числе телевидение, радио, киноиндустрию, издательское дело и сеть Интернет, и обещает расти на 5% в год. Партнер PwC в России поясняет: «Кино, концерты, спорт — вот форматы, которые привлекают аудиторию... Чтобы завоевать рынок, надо соединить контент (важное новое слово, передающее безразличие к содержанию. — Л. Н.) с эмоциональной составляющей. Индивидуальный подход является важным фактором при выборе формата получения информации...».

Мы специально дотянули эту цитату до слова «информация», чтобы сравнить ее с данными социологических опросов российских граждан о главных для них источниках *информации*. По данным ВЦИОМ, 57% опрошенных в 2016 году узнавали новости из телепередач (в 2015-м — 62%), при этом 75% доверяли телевидению больше, чем другим источникам. По опросам «Левада-центра», телевидение остается источником информации для 88% россиян, и лишь половина из них использует другие источники.

Чтобы уточнить, что имеется в виду под информацией, откроем программу любого из главных «общественно-политических» федеральных каналов за неделю. Мы обнаружим здесь, по сути, тот же *контент*, что и в областной газете: футбол, концерты, викторины, ток-шоу, полезные советы и, разумеется, телесериалы. Собственно новостные передачи занимают далеко не главное место, а анализ этих «новостей» приведет нас к тому, что значительная их часть также нацелена скорее на развлечение. В «средствах массовой информации» оказывается меньше всего собственно *информации* — здесь мы начинаем деструкцию самого термина «СМИ», употребляемого нами обычно в кавычках.

Таков взгляд на информацию со стороны бизнеса, который хочет понять, на что будет покупательский спрос, но, пожалуй, и со стороны психологии — смотреть хоккей или кино тоже означает получать не только эмоции, но и какую-то информацию. Но она *не предмет журналистики*, и в этом смысле к ней вряд ли можно вполне отнести даже спортивный журнал: в спорте события реальны, а придаваемое им

значение виртуально (впрочем, если в спорте возникает, например, тема коррумпированного судейства или организованного допинга, она, конечно, сразу же становится предметом журналистики).

Места для журналистики как рационального дискурса о социальном и политическом в этих «СМИ» постепенно не остается, она проигрывает обоим конкурентам: как таблоиду, так и пропаганде. Причина банальна: пропаганда щедро оплачивается из бюджета, и сюда из журналистики перетекают квалифицированные кадры, а правильно сделанный таблоид прибылен и сам по себе. Однако при этом выясняется, что журналистика, нацеленная на серьезный дискурс, как правило, плохо уживается с «бюстом Анны Семенович» и даже с рекламой, тогда как речевкам пропаганды соседствующая с ними желтизна не только не вредит, но и, напротив, способствует их поглощению: упакованные в пилюли, сообщения пропаганды легко и незаметно проглатываются «массой» вместе с компотом развлечений.

Если в рациональной дискурсивной практике и соответствующем ей контуре история Дианы Шурыгиной выглядит чужеродным, отторгаемым объектом и воспринимается как шум, то в мифологическом контуре она сопутствующий товар, вполне имеющий там право на существование. Таким образом, журналистика *выдавливается из «СМИ»* с двух сторон одновременно: и по линии подлинности, и по линии актуальности.

Возвращаясь к отношениям, которые возникают только с участием аудитории, мы видим, что журналистика, различающая внутри нее отдельных личностей, склоняет их к труду совместной рефлексии, а таблоид и пропаганда видят в них лишь «массы», которые они хотят использовать в коммерческом или политическом смысле. Но в конечном счете это все одни и те же люди, поэтому и журналистика впадает, пытаясь вернуть аудиторию, в грех Entertainment и залезает на территорию, помеченную желтым.

Развлекательность как прием изначально присуща и журналистике, которая не может быть слишком сложной (если

это не научный журнал) и старается быть интересной, используя занимательные сюжеты и хлесткую подачу. Просто плохо написанный, неинтересный и невнятный материал, как и плохо снятый сюжет, не попадет на полосу или на экран — в профессиональном медиа их завернет редактор. Мы даже можем набросать еще одну карту журналистики, используя как критерий именно качество текстов, заголовков, иллюстраций, верстки и других приемов, известных профессиональным медиа, причем эта карта будет заметно отличаться от той, где за основополагающий признак журналистики мы принимали содержание и глубину дискурса.

На границе с развлечениями существуют целые направления журналистики: о спорте, о «звездах», о путешествиях, о кино и даже о политике, а в том жанре, в каком о ней уже лет двадцать блестяще пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте», дискурсивный и чисто развлекательный компонент в его отношениях с читателями не всегда различимы.

Можно делать политические и социальные темы более увлекательными, подавая их в виде «игры» или «карточек», как это старается делать, например, «Медуза». Существуют приемы *инфотеймента* (этот термин, составленный из Information и Entertainment, появился в восьмидесятые годы XX века в США), удерживающие аудиторию. Однако все эти сами по себе «законные» средства требуют упрощения материала, а граница зыбка, и внутри упрощения легко растерять содержание. Шум может заглушить сигнал, но беда в том, что и сам сигнал без шума не привлечет к себе внимания.

Журналист Андрей Мирошниченко для публикации на сайте «Слон» — «Могут ли СМИ не заискивать перед читателем?» — задал трем главным редакторам интернет-изданий, популярных у образованной молодежи, вынесенный в заголовок вопрос. Вот их ответы. Илья Красильщик («Афиша»): «Прости, читатель, но, когда я просыпаюсь, я вообще о тебе не думаю. То, что мы делаем, должно быть интересно нам самим». Дмитрий Ольшанский («Русская жизнь»): «Эта погоня за лайками растлеивает... Ты начинаешь писать какие-то вещи, которые, в сущности, писать не обязательно». Мария Степанова («Кольта»): «Мне кажется, то, что мы делаем, имеет

ценность и смысл, которые не переводятся в количество кликов, лайков или рекламных контрактов».

Это все классные журналисты, и их позиция совершенно журналистская, но она лукава. Ведь содержание большинства медиа, популярных у образованной молодежи, чаще всего находится на некотором удалении от стержня *журнализма*. И это не столько следствие робости (хотя и этот фактор тоже присутствует) и закона убывания смысла высказываний, сколько то самое следование логике кликов: молодая и образованная аудитория не видит сегодня в массе своей смысла интересоваться «социальным и политическим» — это неактуально в том смысле, в каком действительность должна быть временем действия. За отсутствием такой возможности все *отношения журналистики* смещаются в диапазон от интереса к серьезным, но довольно отвлеченным вопросам истории и философии (сайт «Арзамас») до периферии, зона которой описывается термином *прикольню*.

Само это словечко распространилось где-то в девяностые годы, и не просто «по приколу»: оно описывает некий прежде не столь заметный феномен. Этимология «прикола» отчетливо не прослеживается, нет у него и четкого определения, зато любой ребенок набросает кучу примеров того, что «не прикольно». Это слово, описывая какое-то свойство постмодерна, сохраняет на себе отпечаток релятивистской бессмысленности — пожалуй, *прикол* указывает именно на отсутствие нравственной нагрузки суждения. Это не хорошо и не плохо, не важно и не неважно, а просто «прикольню». Однако, если какое-то высказывание «не прикалывает», это означает сворачивание коммуникации.

Без «прикола» нельзя понять современные медиа и журналистику. С одной стороны, это часто желание высказаться на языке, который уже потерян: когда утрачены дар и навык речи, коммуникация заполняется бесчисленными «котиками» и «селфи» — как автографами уже не умеющих сказать. С другой стороны, «прикольню» образует зону, где нет идеологии, и в ней могут без свойственной оценкам агрессии коммуницировать люди самых разных убеждений, а это важно в плане преодоления замкнутости контуров.

«Здесь Родос, здесь прыгай!» В эту, по сути, зыбкую тину должно быть запущено что-то настолько «прикольное», что позволит вытащить себя за волосы вместе с конем, как барон Мюнхгаузен. Журналистика не может отвернуться от тех, кто потерял дар речи, хотя, пробиваясь к ним, она бывает вынуждена порой сама опускаться до уровня таблоида, а это рискованный эксперимент над собой.

Если мы еще раз взболтаем эту смесь, чтобы понаблюдать за кристаллизацией и образованием структур, то увидим, что элементы пропаганды наряду с рекламой тяготеют к желтым сгущениям развлекательного *контента*: там толчется больше «масс», они менее склонны к критическому анализу и внушаемы. Если с точки зрения журналистики развлечения — это *шум*, мешающий услышать ее голос, то с точки зрения пропаганды это *сопутствующие товары*. Пожалуй, даже наоборот: новости на телеканале продаются «в нагрузку» к телесериалу или хоккею (во времена социалистического дефицита был такой способ распродавать залежалые товары — в нагрузку к вожделенному растворимому кофе вы должны были купить еще и кило ненужной манной крупы). В результате образуется не просто винегрет, а отравляющая мозг человечества смесь легкомыслия, стеба, культа силы и сексуальности, перемешанных с прямым или косвенным восхвалением власти, и все это еще припудрено сверху пророчествами «русской весны».

Даниил Дондурей в статье «Российская смысловая матрица», опубликованной в двух номерах «Ведомостей» в июне 2016 года, вводит, по аналогии с силовиками, профессию «смысловики» — для тех, кто, обращаясь к архетипам российского сознания, «выращивает» для масс «картины мира». Другими словами, он также предлагает взглянуть на «СМИ» не с точки зрения смыслов, а с точки зрения эмоций. Он точно улавливает разницу в типах циркулирующих сообщений: если они адресуются не общественному сознанию, а скорее коллективному бессознательному, то соответствующим образом и кодируются. Однако эта картина, несколько отдающая конспирологией и уводящая нас в сторону «заговора с целью оболванивания масс», описывает феномен пропаганды,

недостаточно учитывая тот факт, что пропаганда подается и поглощается в одном коктейле с развлечениями.

А с позиции развлечения эмоция и есть смысл, другого нет. Если мы рассматриваем всю сферу Media & Entertainment как общественные отношения, трудно сказать, кто кого здесь оболванивает: медиа аудиторию или аудитория журналистов. Ведь те из них, кто сопротивляется слишком упорно, исчезают с карты, застревают в другом, пусть и более глубоком, пространстве, а те, кто в коммуникации с «множествами» играет на понижение, зарабатывают известность и деньги, а ради этого можно побыть дураком.

Метафора *игры на понижение* — то есть не только все больше людей играет, вместо того чтобы «ходить перед Богом» в онтологическом ряду, но кто-то, возможно, еще и сознательно играет на понижение — встретила мне в дневниках протоиерея Александра Шмемана (а дневники мы признали за журналистику в широком смысле слова). Шмеман, остро ощущавший игру на понижение в сфере религии, жил во Франции и в США и умер в 1983 году, а писал об этом в семидесятых годах XX века, еще не подозревая об интернете. Инфляция смыслов представляет собой далеко не новую проблему (скорее она случается в истории периодически) и не является только российской проблемой. Ведь повсеместный рост настроений фундаментализма и отказ от космополитизма горизонтальных медиа в пользу вертикальных также становится ответом на игру на понижение.

В самом широком смысле игра на понижение — синоним *попсы*, существовавшей как явление, как зарабатывание популярности на потакании вкусам публики, наверное, на протяжении всей истории медиа (тоже в самом широком смысле — по Маклюэну). А чем еще занимались софисты, которых так не любил Сократ? Но, произнеся слово «попса», мы сразу же попадаем в ловушку снобизма, и нам не избежать упреков в высокомерии, с одной стороны, а с другой — в непоследовательности: либерализм предполагает и даже защищает право каждого «продавать» то, на что существует спрос. В этом смысле я не либерал, да и никто в современном мире о либерализме так уже не думает: наркотики, во всяком

случае тяжелые, запрещены в большинстве «либеральных» стран, хотя они дают высочайшую норму прибыли. Желтая пресса, по сути, такой же наркотик, позволяющий уйти от действительности, «опиум для народа», как говорил (правда, о религии) Маркс.

Успех попсы и дурновкусия в России связан, вероятно, с ее историей, с одной стороны, а с другой — с характером того «дикого капитализма», каким он вернулся сюда в конце XX века. Критика капитализма со стороны западных неомарксистов еще более применима к сегодняшней России — это здесь ничем не ограниченная жажда наживы (со стороны как владельцев медиа, так и менеджмента и «журналистов») совпала с политическим трендом легитимации с опорой на «Уралвагонзавод». Хотя этот тренд содержит еще и открытые и скрытые отсылки к памяти об СССР, надо сказать, что значительная часть того, что мы сегодня видим на экранах и в прессе, не имела бы шансов туда попасть: в СССР еще сохранялось, пусть и перекошенное идеологией, но все же уважение к культуре.

Возвращаясь к проблеме свободного времени аудитории, за которое в рабочее время борются «представители СМИ», надо сказать, что никогда в истории развлечения не были столь доступны, как с появлением интернета, и сам масштаб заражения человечества этой игроманией представляет собой уже угрозу общественному развитию. Сфера развлечений между тем эксплуатирует такой человеческий порок, как лень, и это делает, в принципе, правомерным ограничение культа отдыха и развлечений, который в современных медиа граничит с экспансией. Но бороться с жаждой развлечений (которую в природе человека, рассуждая о его свободе, недооценивал Маркс) — дело неблагодарное и «не либеральное». Наверное, правильнее идти не по линии запрета развлечений (кроме представляющих для личности и общества очевидную угрозу), а по линии, с одной стороны, прививки интереса к серьезной и актуальной проблематике на уровне еще образовательных программ, а с другой — стимулирования работы профессионалов в этих «не развлекательных» и по этой причине небогатых дискурсивных практиках.

То есть мы возвращаемся к старинной идее просвещения, что, конечно же, отдает снобизмом. А что делать? Если огород не полоть и не подсыпать удобрения там, где огородник ожидает всходов, сами собой вырастут только борщевики, экспансия которых в европейскую часть России за последние десятилетия отлично передает метафору засилья желтизны в «СМИ». Сознание, удерживающее общество от распада по закону энтропии, бесценно, и если нелиберальное государство для чего-то нужно, то в первую очередь для перераспределения ресурсов в пользу культуры. В принципе, я сторонник «плановой экономики» в медиа, где сложные и трудоемкие жанры должны получать поддержку. Но для этого, наверное, нужно какое-то другое планирование, а о том, что пока на практике получается из «государственной поддержки СМИ», мы еще поговорим в главе 18.

Пока же соотношение между журналистикой и конкурирующими с ней развлечениями в «индустрии медиа и развлечений» приобретает приблизительно такой вид:



Моя жена, по профессии врач, очень устает на работе, где имеет дело с настоящими, а не выдуманнными болезнями, а дома натывается на «Новую газету», которую я захватываю из редакции. Однажды она нашла для нее такое сравнение. Профессор Валентин Войно-Ясенецкий (святитель Лука,

1877–1961) написал знаменитый трактат «Очерки гнойной хирургии». Твоя газета, говорит моя жена, это тоже «очерки гнойной хирургии». Ну да. Но не мы же в этом виноваты. Мы бы и рады про что-нибудь веселенькое, но вот только что разбился самолет с ансамблем Александрова и доктором Лизой, покровительницей бомжей, с которой мне тоже повезло быть знакомым...

А так-то жене есть за что на меня обижаться. Со мной трудно сходить на выставку, или в кино, или за грибами, потому что вот сейчас, последние полгода-год, я заканчиваю эту книжку. Вообще, все люди делятся (я это понял сравнительно поздно) на тех, кто работает, чтобы заработать и потом хорошо оттянуться, и тех, кто и отдыхает-то лишь для того, чтобы набраться сил и пахать. Этим двум видам *homo sapiens* трудно понять друг друга, но это еще и как-то коррелирует с границами между журналистикой, пропагандой и таблоидом. То и другое отношение к труду и отдыху характеризует наши дискурсивные практики целиком, охватывая как авторов, так и «публику». Среди коллег я встречаю в основном таких же. Для всех нормальных жизнь начинается только после работы, а в журналистике работа — это и есть жизнь, а все остальное, включая сон, досадная рутина.

«Антоша Чехонте» (тоже врач), будучи уже широко известным автором уморительных рассказов, вдруг решил стать журналистом и отправился к каторжанам на Сахалин. Наиболее важные вещи Чехов написал уже после Сахалина, подорвав здоровье, но утвердив свое право на суждение. Мастер развлекательного жанра, он в конечном счете выбрал не его. Вот как он сам это объясняет в моем любимом рассказе «Крыжовник».

Всю ночь, проведенную в усадьбе своего счастливого брата, Иван Иванович Чимша-Гималайский думал о том, «как много людей в мире страдает, сходит с ума, пьет, сколько детей умирает от недоедания». И сколько других «днем ест, ночью спит, говорит свою чепуху, женится, старится, благодушно тащит на кладбище своих покойников». Поэтому-то, по мысли Чимши-Гималайского, «за дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и напоминать ему стуком, что есть несчастные».

Даром что прошло сто лет и реальность стала совсем иной, но журналист все тот же «человек с молоточком». И у каждого журналиста есть свое — пускай чаще всего не такое тяжкое и долгое, зато не единственное — путешествие на Сахалин.

ГЛАВА 17. «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»

14 и 15 апреля 2016 года в ряде компаний «ОНЭКСИМ-груп» Михаила Прохорова прошли обыски, а в мае заявления об увольнении по соглашению сторон подали шеф-редактор принадлежащего группе холдинга «Росбизнесконсалтинг» (РБК) Елизавета Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и редактор информагентства Роман Баданин. Осведомленные медиа связали это с публикацией материалов «Панамского архива» и расследования, связанного с бизнесом предположительно зятя президента.

В начале июля оставшемуся коллективу РБК, решившему работать «до первой снятой заметки», были представлены новые руководители (оба в прошлом заместители главного редактора ТАСС) Елизавета Голикова и Игорь Тросников. Сотрудники РБК сделали тайную аудиозапись этой встречи, а ее расшифровку тут же опубликовал сайт «Медуза». Корректность таких действий спорна, но общественная значимость позиции, которую новое руководство холдинга объяснило журналистам предельно доходчиво и ярко, оправдывает это достаточно банальное этическое нарушение: «Информационное пространство... это очень чувствительная зона. И у нас с вами сейчас сложный момент... переполненность дорожного движения, очень нервные водители, катастрофическое напряжение у тех, кто за пределами автомобиля и внутри. Наша задача — проявлять свой профессионализм таким образом, чтобы это движение было безопасным как для тех, кто сидит внутри, так и для пешеходов».

Из этой встречи и ее записи родилась сразу ставшая популярной метафора *двойной сплошной*, за пересечение которой у водителя могут отобрать права. Вообще, запись свидетельствует о том, что, во-первых, с обеих сторон диалог на ней вели профессионалы (достоинные уважения хотя бы по этому признаку), во-вторых, новое руководство прекрасно понимало ценность репутации РБК и не хотело ее декапитализировать (а в душе, возможно, и переживало

за профессию), но, в-третьих, перед владельцами РБК новые редакторы взяли на себя обязательства не рисковать слишком сильно.

Однако проблема в том, что ни эти опытные редакторы и никто другой не может точно указать, где проходит «двойная сплошная», это становится (если еще становится) понятным лишь тогда, когда за ее пересечение уже «прилетело». «Прилететь» может в самой разной и непредсказуемой форме — допустим, от пожарного надзора, — и это никак формально не будет связано с причиной наказания. Ясно, кроме того, что одним что-то можно, а другим то же самое нельзя, и эти правила нигде и никак не формализованы (как это было в советской цензуре — цензоры ссылались на циркуляры Главлита, которые им рассылались централизованно, и с ними даже можно было спорить).

Метафора «двойной сплошной» набрала популярность потому, что она отражает то общее положение в смысловом пространстве в целом и в журналистике в частности, которое понятно каждому профессионалу, но не всегда может быть ясно выражено.

Кастельс в своей «Власти коммуникации» указывает, что власть (не обязательно политическая) управляет обществом (или группой) при помощи *насилия* и *дискурса*, причем ей тем менее нужно насилие, чем лучше и плотнее она захватывает контроль над дискурсом. Ведь в структуре дискурса власть не единственный и даже такой же, как все остальные, участник, а административные или силовые возможности реализуются уже не в плоскости дискурса, а в плоскости насилия. Эта мысль, которая, в общем-то, не нова, но сформулирована здесь очень четко, позволяет нам рассмотреть диалектику отношений власти и журналистики в истории России последних десятилетий. Если до рубежных событий 2011–2012 годов власть старалась контролировать дискурс с помощью мер финансового характера (в главе 18 мы увидим, как это происходит), то после «Болотного» рубежа она обратилась, наряду с финансовыми, к мерам внеэкономического принуждения, а в обратном порядке это означает, что контроль над дискурсом уплывает из ее рук.

Нет смысла даже перечислять все запреты и ограничения, введенные за последние годы Государственной думой, увенчавшей это «законом Яровой». Изменения внимательно отслеживает, например, воронежский Центр защиты прав СМИ во главе с юристом Галиной Араповой, все это можно прочесть на их сайте, а моя книжка не для этого, да и за время, необходимое для ее издания, на этом полуправовом поле появятся уже и новые мины. Многие (если не все) эти ограничения бессмысленны сами по себе, но все вместе — и в совокупности с совершенно произвольным их толкованием органами Роскомнадзора, прокуратуры и проч. — они создают вполне определенный режим и уровень опасности как для отдельных высказываний, так и для медиа в целом.

После неудавшегося переворота в июле 2016 года в Турции одномоментно было закрыто более ста медиа, в том числе 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет, 15 журналов, 29 издательских домов и три новостных агентства, а 47 журналистов были арестованы. Цифры впечатляют, но для России они окажутся вполне сопоставимыми, хотя здесь этот процесс не столько уничтожения, сколько реформатирования «СМИ» и выдавливания из них журналистики, начиная с разгрома телекомпании НТВ в 2000—2001 годах, растянулся уже на пятнадцать лет. Только за последние пять лет он затронул пятнадцать медиа, если считать лишь те, что были заметны на федеральном уровне.

В декабре 2011 года за появление в газете сомнительного (зато смешного) фото президента был уволен главный редактор издательского дома «Коммерсант» Максим Ковальский. В дальнейшем владелец ИД Алишер Усманов еще несколько раз менял руководство, и «Коммерсант», по мнению экспертов, потерял прежнюю остроту.

В сентябре 2013 года, после того как дирекция «Газеты.ру» сняла с сайта баннер НКО по наблюдению за выборами «Голос», с которым это издание проводило совместную акцию, уволился главный редактор Роман Баданин. На его место после еще нескольких связанных увольнений была назначена Светлана Бабаева из «Известий», и «Газета.ру» резко сменила редакционную политику.

В декабре 2013 года внезапным указом президента было ликвидировано крупнейшее и успешное государственное агентство — РИА «Новости», а на его базе было создано точно такое же по форме, но более пропагандистское агентство «Россия сегодня». Чем именно провинилась главный редактор старого РИА Светлана Миронюк, осталось непонятным, разве что ее место просто приглянулось Дмитрию Киселеву.

В январе 2014 года операторы телевизионных сетей исключили из своих пакетов телеканал «Дождь», объясняя это тем, что опрос о возможной сдаче блокадного Ленинграда в 1942 году вызвал возмущение зрителей. По мнению экспертов, давление на операторов оказывали чиновники, недовольные высказываниями канала в целом. Уйдя полностью в интернет, «Дождь» не утратил популярности как узел и платформа для высказываний, но потерял значительную часть аудитории.

В марте 2014 года Александр Мамут, как управляющий акционер «Ленты.ру», уволил ее главного редактора Галину Тимченко за публикацию интервью с лидером одного из украинских национальных движений. Вслед за Тимченко из «Ленты» ушло более восьмидесяти журналистов, последовательно сменилось несколько главных редакторов, ресурс в целом переориентировался и потерял былую популярность.

В марте 2014 года (параллельно с событиями в Крыму) впервые по требованию Генеральной прокуратуры РФ и Роскомнадзора были заблокированы популярные «оппозиционные» (кавычки, поскольку оппозиционность — нормальный признак журналистики) сайты «Грани.ру», «ЕЖ.ру» и «Каспаров.ру». Обжалование этих блокировок в судах не дало результатов, хотя надзирающие органы так и не смогли объяснить, в каких конкретно текстах содержались и в чем состояли «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых беспорядках».

В августе 2014 года редакция РЕН ТВ (владелец канала сменился раньше) без объяснения причин закрыла популярную передачу «Неделя с Марианной Максимовской», заменив ее другой и менее критичной, а вскоре Максимовская и вовсе покинула РЕН ТВ.

В декабре 2014 года инвесторы портала «Русская планета» уволили его главного редактора Павла Пряникова, вслед за которым ушла и большая часть журналистов. Портал полностью сменил политическую ориентацию, а Пряников в итоге оказался главным редактором очень человеческого проекта «Такие дела».

В феврале 2015 года Томский областной телецентр в одностороннем порядке прекратил вещание старейшей из региональных независимых компаний — ТВ2, а вскоре ее исключили из пакетов и кабельные сети. В Томске прошли многолюдные митинги, но это никак не повлияло на судьбу ТВ2 — компания перешла в интернет, где потеряла значительную часть аудитории и доходов от рекламы.

В январе 2016 года начал действовать закон об ограничении доли иностранцев в российских СМИ, в результате чего немецкий концерн Axel Springer продал акции журнала Forbes российскому бизнесмену Александру Федотову. Главный редактор журнала Эльмар Муртазаев уволился, а новый главный редактор объяснил сотрудникам, что теперь Forbes будет «не про политику».

В мае 2016 года, наконец, произошла уже известная нам история с РБК, причем обыски в ОНЭКСИМ у Михаила Прохорова напомнили события шестнадцатилетней давности, когда помещение владельца прежнего НТВ Владимира Гусинского на несколько дней в следственный изолятор сделало его более сговорчивым.

Мы перечислили лишь крупные «крейсера», более мелких потопленных «лодочек», особенно в провинции, в десятки раз больше. Отдельные журналисты в это же время оказались в тюрьме, испугались, просто устали и сменили род занятий или погибли — последним пока стал взорванный в Киеве Павел Шеремет (которого я тоже, хотя и не близко, знал), убитый, по-видимому, в назидание другим.

Представляя себе *карту* этих беспрерывных сражений за контроль над смыслами, мы должны вспомнить, о чем говорили ранее: карта журналистики отнюдь не совпадает — а в эпоху свободного интернета тем более — с картой «СМИ»:

медиа только плацдармы, занимая которые политическая власть, впрочем, в каждом случае обеспечивает себе временный перевес. Следовательно, карту этих сражений мы должны держать в голове сразу в двух масштабах. Во всех перечисленных выше случаях огонь по штабам не повлек за собой непоправимого ущерба для журналистов, каждый из которых оказался достаточно силен, чтобы найти новую площадку для высказываний. Они спасаются поодиночке и группами, переходят в другие издания, уходят в интернет, в том числе на «зеркала», как это сделали ЕЖ и «Грани», а иной раз создают и новые *топосы*, как это удалось Галине Тимченко, зарегистрировавшей сайт «Медуза» в Латвии. Этот сайт, с которого я списал и приведенный выше мартиролог, быстро достиг популярности, оставив позади сменившую курс «Ленту.ру». Это означает в числе прочего, что сегодня в интернете возраст и бренд медиа для его популярности уже не так важны.

А что происходит с медиа, из которых уходят команды? Ведь увольнение Тимченко с «Ленты» не просто уход одного журналиста — она перетаскала за собой в другое место не только сотрудников, но и всю сеть завязанных на них коммуникаций с пользователями, то есть сами отношения журналистики вместе с «публикой». Это означает как минимум, что в новой сетевой реальности уничтожение отдельного медиа или канала коммуникации уже не решает тех задач, которые прежде так легко реализовывались методом давления.

И вот в декабре 2016 года компания «ТВ2-Томск» окончательно выиграла иск против Роскомнадзора об отзыве у нее лицензии под тем безумным предлогом, что учредитель компании Виктор Мучник не смог подтвердить отсутствие у себя второго гражданства (такой процедуры вообще нет). А спустя еще несколько дней тот же Арбитражный суд Москвы по иску «Роснефти» о взыскании с РБК 3,179 млрд рублей (как был подсчитан ущерб деловой репутации, осталось не совсем ясным) вынес решение о взыскании в пользу истца 390 тыс. рублей, чем спас холдинг от разорения и вероятной ликвидации. Эти решения, несомненно, принимались не только в суде (хотя судьи тоже вздохнули с облегчением), но и на политическом уровне. Комментируя на традиционной ежегодной

пресс-конференции эту историю, президент назвал судебное решение «нормальным», не забыв еще раз объяснить, что он «не может судить» о его «объективности».

В апреле 2016 года мы в «Новой газете» ждали, что нам «прилетит» за публикацию о странных доходах друга президента виолончелиста Сергея Ролдугина. «Прилетело» очень неожиданно личное приглашение президента главному редактору газеты на Парад Победы на Красной площади. Я спросил у Дмитрия Муратова, что это означает: хорошо это для нас или плохо? Вот ответ, который я сам никогда бы так точно не сформулировал: «Это сигнал всем, кто нас хочет съесть: “Это не ваша добыча”». Точно таков же смысл решения суда по РБК, которое следует читать так, что, покусившись на Игоря Сечина, журналисты не пересекли *двойную сплошную*, а с случае с «ТВ2-Томск», может быть, они ее когда-то и пересекли, но теперь за давностью их можно и амнистировать.

Однако эти разовые, «в ручном режиме» решения, принимаемые на высоком (хотя и не обязательно президентском) уровне, скорее индальгенции и исключения из правил, по которым уголовная репрессия может применяться и за безобидный перепост в «Фейсбуке». Ведь в большинстве случаев вообще невозможно понять, кто и как принимает решение о привлечении к ответственности в медиасфере, и редактор каждый раз исходит из того, что редакции противостоит некий коллективный разум бюрократии, а это отнюдь не тождественно коммуникативному разуму по Хабермасу.

Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955, Франция), религиозный философ и биолог (свою антропологию он строит на базе знания биологии), полагает, что цивилизация пошла от сотворения мира по двум направлениям развития разума. Если человек стал вершиной индивидуального разума, то и второй путь не окончательно зашел в тупик: муравейник или пчелиный рой тоже явно обладает некоторым коллективным разумом и способен вырабатывать стратегии, обеспечивающие его выживание и комфорт. Так же действует и бюрократия в целом, ее разум не тождествен сумме разума чиновников. И если диалог лицом к лицу не со всеми, но со

многими из них бывает возможен и иногда даже приносит результаты, на макроуровне при контактах индивидуального и «роевого» разума ни один из них просто ничего не может объяснить другому.

Вообще, бóльшая часть происходящего в сфере политического вопреки видимости облечения этого в оточенную форму решений, законов и указов, по сути, происходит на интуитивном уровне. Поэтому государственную как бы политику в сфере медиа в сегодняшней России тоже можно объяснить скорее по аналогии с разумом муравьиной кучи: это хаотические, хотя и не бессмысленные защитные реакции чаще всего на какие-то конкретные высказывания, но иногда — столь же интуитивно — и просто на проявления несанкционированной свободы.

Журналистика — это всегда *порыв* и *риск*, без которых немислим *журнализм*. Но у многих ли будет охота рисковать, сталкиваясь с «муравьиной кучей», законы поведения которой не всегда понятны даже ей самой? Журналист и редактор (последний в отличие от первого рискует не только собственным благополучием) стоят как бы в середине минного поля, на котором не всегда видны флажки, а «двойная сплошная» наносится постфактум. Постепенно естественное желание высказаться подавляется опасением перед суждением, которое всегда и по определению сопряжено с каким-то риском.

Собственно, мой дед, Иван Николаевич Никитинский, тоже потерпел за высказывание, хотя и не журналистское. Как рассказывала бабушка, где-то в начале тридцатых в гостях, где, кроме них, был какой-то кремлевский сотрудник, дед у него спросил: «А у вас в Кремле часовые у каждой двери стоят или через одну?» Черт его дернул так пошутить: в ту же ночь за ним пришли, и он уехал на Лубянку и дальше как организатор какого-то заговора. Родившись в 1953 году, я уже не застал деда в живых, но у меня в ящике стола до сих пор лежит почему-то не выброшенное отцом его покаянное письмо Сталину. Так дед надеялся спасти отца, когда того уже после фронта исключали и исключили-таки из аспирантуры «за сокрытие биографических данных».

Когда в середине семидесятых я еще не понимал разницы между журналистикой и литературой, я пробовал писать какие-то рассказы, которые считал юмористическими. Один из них назывался «Правила игры» — название я помню, а сюжет не очень, потому что он получился невнятным. Там я описывал сложные правила некой игры, по которым надо было зарабатывать очки, метая мячики в круг. Но за попадание в центр (в десятку) можно было быть битым, за броски по краям давалось слишком мало очков, поэтому все участники старались кидать свои мячики в круги, обозначаемые цифрами 5 или 6, а кто уж совсем отчаянный — 7.

Очень гордый тем, какой я умный, я отнес прочесть этот рассказик отцу, тогда уже профессору права, а тот, прочтя, побледнел и велел его сжечь. В начале семидесятых он защитил докторскую об «эффективности правовых норм», доказывая, что законы, придумываемые в ЦК КПСС, не всегда имеют те последствия, на которые рассчитывали их сочинители, — часто они оказываются и прямо противоположными (вот бы сейчас Государственная дума предоставила ему богатый материал для размышлений на эту тему — просто Клондайк!). Он вовсе не был боязлив, но, наверное, та ночь, когда пришли за его отцом, оставила в его памяти след, который не мог быть сглажен годами последующего вегетарианства. Жечь рассказик я не стал, но потом он куда-то потерялся как не представлявший художественной ценности. Теперь я понимаю, что его невнятность была органична, отражая невнятность того, чему тогда и названия не было, а теперь это называется «понятия». Но сам ход тогдашней моей мысли сегодня вновь оказывается актуален.

Все прекрасно понимают эти неписанные правила, но все же многие заигрываются. 13 октября 2010 года губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин опубликовал в Twitter сделанную телефоном фотографию дождевого червяка, найденного им в своей тарелке от салата на приеме в Кремле. Никакая пиар-служба не сделала бы из Зеленина ньюсмейкера такого уровня, на какой он взлетел после этой публикации. Червяк обсуждался не только во всех «СМИ» и социальных сетях, но и на высшем уровне, не исключая тогдашнего

президента РФ Дмитрия Медведева. Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что власть не может полностью контролировать даже свои собственные высказывания, не говоря уж о дискурсе в целом. С другой стороны, Зеленину «прилетело»: спустя восемь месяцев он покинул пост по собственному желанию.

Собственно, модель «правил игры» описывает ситуацию не только в «СМИ». Зачем рисковать и заниматься стартами, когда можно пойти работать в полицию, в обмен на журавля в небе обретая в руках синицу «стабильности»? Зачем вообще высказываться, если спокойней молчать? Журналист «в поле» сегодня все чаще сталкивается с тем, что с ним никто и ни о чем не хочет разговаривать. На всякий случай. Мало ли что. И в этих условиях содержание в «СМИ» закономерно заменяется «контентом».

ГЛАВА 18. УНАВОЖИВАНИЕ «КОНТЕНТА»

Журнал «Журналистика и медиарынок» в № 5 за 2016 год опубликовал итоги второго ежегодного конкурса «10 лучших газет России». Это в самом деле лучшие областные и районные газеты, многих их главных редакторов я знаю лично. Однако успехи этих газет не столько в журналистике, сколько в иных, хотя чаще всего и близких к ней сферах деятельности.

Все прошедшие отбор участники конкурса ведут у себя в городах и городках те или иные социальные проекты: от помощи детям и инвалидам до «патриотизма». Они поддерживают музеи, проводят конкурсы стихов, экспедиции, культпоходы, концерты и т.п., оказываясь центрами по крайней мере культурной жизни. По сути, эти «СМИ» занимают нишу НКО (которые выживаются из нее по «закону об иностранных агентах»). Но журналистика ли это? Да, может быть, в каких-то случаях (как с детьми и инвалидами) это «журналистика участия», но участия в ней все же больше, чем журналистики.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Это позволяет достойно выживать и даже сохранять в провинции до лучших времен школу журналистского очерка «о людях», а умеренная критическая повестка, которую эти газеты продолжают поддерживать, не задирая прицел до глав администраций, но критикуя, например, отвратительное качество дорог, создает некоторое пространство для общения между голосующими за и против действующей власти. Но настоящий журнализм давно забыт даже в этих лучших газетах, которых, может быть, больше нескольких десятков по всей стране и не наберется, а у их конкурентов полосы, не считая программы передач и «юмора», заполнены только унылой невнятицей переписанных пресс-релизов.

Как это ни покажется странным на первый взгляд, весь этот *контент*, заменивший когда-то существовавшее в «СМИ» *содержание*, стал следствием не столько запретов и репрессий, сколько, наоборот, поддержки со стороны «государства» (кавычки, потому что на этом уровне не всегда понятно, кто на самом деле его представляет).

В ноябре 2012 года «Новая газета» направила меня в Екатеринбург защищать Аксану (через А, и все остальное у нее, в общем, тоже не как у других) Панову — создательницу и бывшую владелицу агентства «Ура.ру», против которой там было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. Сама по себе фигура Аксаны столь же необычна, сколь и характерна. Несомненно, очень талантливая и как журналист, и как предприниматель и менеджер, она создала в Екатеринбурге сначала одно, а после продажи первого и второе новостное агентство (Znak.com), способные конкурировать с московскими и питерскими по наличию источников информации, важности, скорости и подаче новостей. Личная жизнь Аксаны, тесно переплетенная с профессиональной, тоже потянула бы на целый роман, но мы ее здесь мусолить не будем.

Финансовое благополучие «Ура.ру» было построено на контрактах, которые с ним заключали не только коммерческие структуры, что, в общем, было уже обычным делом, но и государственные органы. Эта практика называлась «договорами об информационном обслуживании», и стороны по понятным причинам старались ее не афишировать. Такой информацией в то время владели финансовые менеджеры, а журналистское сообщество многого о них и не знало. В общем, тут был целый детектив с приключениями Аксаны, тайнами и убийством, а именно убийством этими договорами журналистики.

В Екатеринбурге Аксана, беременная вторым (так и не родившимся) ребенком и находившаяся под подпиской о невыезде по своему уголовному делу, назначила мне свидание в кегельбане, куда привела сына от которого-то брака. Мы сели за столик, и я, вымотанный предшествующими встречами, неловко начал разговор с того, что хотел бы ей помочь, хотя то, чем занимается «Ура.ру», это не журналистика. Тут я и понял, чем же она так хороша в ярости: в глазах зеленого льда сверкнула молния, и шипение Аксаны заглушило даже стук кеглей. Я сумел разобрать: «Да я здесь больше журналистка, чем все остальные, чем вы все вместе взятые!..»

В январе 2014 года Аксана была приговорена судом к двум годам лишения свободы, к счастью условно, и к запрету на

два года «заниматься журналистской деятельностью» (в отличие от нас судья, видимо, понимал, что это такое). Обвинение ей было предъявлено в том, что часть «договоров об информационном обслуживании» заключалась в результате шантажа в обмен на обещание не публиковать негативную информацию об определенных структурах или лицах. По сути, наверное, так и было, хотя эти договоренности, конечно, сторонами лишь подразумевались в виде «блоков на негатив», и, при всей сомнительности такой практики с этической точки зрения, «вымогательства» в уголовно-правовом смысле, на мой взгляд, там не было.

Однако интересней оказалось другое: в качестве доказательства вины Пановой сторона обвинения приобщила к делу некий журнал расходов, куда редактор небольшого местного государственного телеканала Антон Стуликов заносил сведения о суммах, выплаченных по таким же «договорам об информационной обслуживании» из бюджета Свердловской области едва ли не всем «СМИ», и не только в Екатеринбурге. В свете этого грессбуха Панова в самом деле оказалась «журналисткой больше, чем все остальные» — «остальные», уступая ей по талантам, только и ждали приговора, чтобы тут же броситься делить ту большую часть бюджетного пирога, которая прежде доставалась «Ура.ру».

Занимая в то время нештатную должность секретаря Союза журналистов России и участвуя в разных конференциях, я стал выносить тему «договоров об информационном обслуживании» в публичное пространство. Мало кто, больше меня зная, хотел говорить об этом вслух, но масштаб явления и распространенность его по всей стране становились все более очевидными. В 2015 году с подачи ОНФ (Общероссийского народного фронта) президент Путин назвал цифру госфинансирования «СМИ» в 35 млрд рублей только из региональных бюджетов, но никто не задался вопросом, что именно за эти деньги купили налогоплательщики. Даже ежегодный и довольно толстый доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, описывая весьма подробно тиражи и рейтинги, сведения о номинальных

владельцах и даже процессы слияния и поглощения в «СМИ», вообще не касался их содержания.

Между тем 35 млрд (цифры у нас в исследовании потом примерно совпали) — это без учета трат из федерального бюджета на «Россию сегодня» и отдельно на Russia Today, на публикацию официальных документов и общую поддержку «Российской газеты», на «Парламентскую газету» и многое другое, не говоря уже о так называемых частных инвестициях в частные по форме, но государственные по сути телеканалы. Однако о цифрах должны спорить, по идее, депутаты при утверждении бюджетов, а мы поставили перед собой цель хоть как-то выяснить эффективность этих затрат.

В 2014 и 2015 годах нам с Альянсом независимых региональных издателей (АНРИ) удалось получить небольшие «президентские гранты» на исследование под этим углом зрения контента региональных медиа. За два года мы проанализировали его в десяти регионах. По методике, разработанной социологами ЦИРКОНа, эксперты в регионах оценили все текстовые медиа, включая ежедневные областные и наиболее тиражные районные газеты, популярные сайты, ближайшие к дате еженедельники и франшизы федеральных изданий. Эксперты отмечали темы публикаций по оси власть — человек, объем, тональность, место на полосах и другие характеристики (при этом кроссворды, соленье капусты и проч., что явно не относилось к предмету журналистики, в расчет не принимались).

После количественной обработки данных мы ожидали увидеть, что государственные «СМИ» будут больше хвалить власть, а частные — активнее транслировать критическую повестку и уделять внимание «человеку». Однако прежде всего нас удивило, что 60% охваченных исследованием медиа позиционировали себя как «частные», хотя форма собственности никак не отразилась на их повестках. Мы запросили от экспертов в регионах дополнительные сведения о том, какие из этих «СМИ» получают бюджетную поддержку — по «договорам об информационном обслуживании», в форме субсидий, госзаказов, грантов и др. Сопоставление этих данных с таблицами по темам и тональности дало наконец

совершенно определенную картину: независимо от формы собственности *любой объем государственной поддержки влечет за собой свертывание критической повестки* и преобладание в «СМИ» оптимистической тональности. В то же время отсутствие поддержки из бюджета коррелировало с известным презрительно-стебным тоном — но по отношению как к персонажам власти, так и ко всем остальным.

Показательным оказался средний объем публикаций: на внутренних полосах в 80% случаев он не превышает 1,5–2,5 тыс. знаков. Эти цифры, дополненные экспертным качественным анализом, указывают на исчезновение из текстовых «СМИ» трудоемких и сложных жанров: аналитики и очерка, не говоря уже о расследованиях. Резюмируя, это переписанные, а то и перенесенные на полосы методом копипаста пресс-релизы органов власти, крупных компаний, а также правоохранительных органов и судов.

Мы возвращаемся к той знакомой всякому, кто ездит по стране, газете, которую в воображении «листали» пару десятков страниц назад: портрет губернатора (или главы района соответственно) на первой полосе, обязательный кроссворд на последней, между ними кройка и шитье и обязательный бессмысленный «криминал», а внутренние полосы забиты короткими сообщениями, повествующими о рутинных действиях должностных лиц: приехал, открыл, заявил, уехал. Этот безликий «контент», как определила наш эксперт Светлана Шайхитдинова из Казани, складывается в картину «магического присутствия власти», которая создает у адресатов (если они вообще когда-то это читают) ощущение некоторой стабильности, но не предполагает содержательной коммуникации. По сути, эти «СМИ» — впечатляющий по объему и стоимости *симулякр журналистики*.

Стороны «договоров об информационном обслуживании» не в восторге от результата, и при обсуждении в профессиональной среде журналисты разделяют беспокойство по поводу упадка профессии. Но за 10–15 лет существования такой практики она сильно, а местами уже и бесповоротно развратила журналистику: ее делает середнячок, не только не желающий рисковать критическими высказываниями,

но и потерявший навык создания больших и сложных текстов. А когда здесь появляются такие персонажи, как Аксана, честолюбивые и по крайней мере готовые чем-то рисковать, тогда срабатывает «минное поле», исследованное нами в предыдущей главе. Увы, исчезает и существовавшая когда-то в провинции школа журналистики, и никакие попытки занять нишу НКО, пусть даже сами по себе и благие, наше ремесло не спасут.

Я не знаю, проговаривала ли Панова «блоки на негатив», шантажируя чиновников и связанных с ними коммерсантов, но в обычной практике такие договоренности сами собой подразумеваются в обратном порядке: тот, кто хочет получить поддержку, и так догадается, что лишнего писать не следует. Поддержка, как стимул положительный, но произвольно возобновляемый каждый год (или иной период), превращается тем самым в антистимул, и «обслуживание» состоит не в том, чтобы писать про распорядителей что-то хорошее, а больше в том, чтобы не писать про них плохого. Это *торговля лояльностью*, отказ от *оппозиционности*, являющейся сущностной чертой журнализма.

И журналисты, исправно получающие какую-никакую зарплату и мелькающие где-то «в администрации», и сама администрация, получающая взамен видимость «отсутствия недостатков», успокаивают себя тем, что эта громадная потемкинская деревня не полезна, но и не очень вредна (а те, в ком еще жив журналистский дух, оттягиваются по ночам в интернете). Но и это не так. Вторая часть нашего с АНРИ исследования, выполненная сотрудником Transparency International Russia Ильей Шумановым по данным, собранным экспертами из регионов, показала, что среди учредителей и владельцев частных ЗАО и ООО, в форме которых зарегистрированы получающие господдержку «СМИ», чаще всего встречаются советники губернаторов, тещи вице-губернаторов и др., то есть обратной стороной этой конструкции является, как и следовало ожидать, *коррупция*. Но и с более широкой точки зрения перед нами коррупция: недовложение смыслов в «СМИ», по сути, то же самое, что воровство цемента при строительстве общественных зданий.

Разумеется, сфера «СМИ» в России сильно коррумпирована, о чем любят напоминать многие чиновники и сам президент, предостерегая против «заказных информационных кампаний» (уж не пример ли Аксаны Пановой имелся в виду?). Мы уже говорили о «заказухе» в главе 5, но здесь видим, что *самым крупным и активным «заказчиком» и коррупционером в «СМИ» является государство*. Это и коррупция в широком смысле слова — как порча, внутреннее гнилостное изменение объекта. Здесь уже не может появиться журналист как личность, а если он тут задержится, то вскоре переродится. Значит, он появится не здесь, а где-то в интернете, пусть и в довольно уродливой, «не отредактированной» форме — как бунтарь и, увы, как кустарь.

Из нашего исследования, кроме того, было видно, что «СМИ», обделенные бюджетной поддержкой, наполняются критикой тоже в довольно странном, неряшливо-жидком виде. У них нет средств (а следовательно, кадров и времени), чтобы следить за качеством, нет средств для аналитики и поиска доказательств, без которых критика поверхностна и превращается в бессмысленный крик, а это влечет за собой репрессии, возникает порочный круг, и результатом становится общая истерика. Как при эпидемии, накрывающей все сообщество сразу, на как бы независимые «СМИ» тоже перекидывается дух цинизма, под флагом снобизма и стеба расцветает коммерческая и политическая (особенно перед выборами) «заказуха».

В рамках нашего исследования у нас не было ни сил, ни средств на такой же анализ контента федеральных «СМИ», и отдельно телевидения, но на экспертном уровне мы понимаем, что и там мы не увидим принципиально иной картины. Там все будет ярче и дороже, но в части, в которой вообще можно говорить о журналистике, последнюю подменяет лучше или хуже упакованный официоз. В ходе дрейфа от минного поля к «поддержке» из журналистики вымывается «руда журнализма», и вся эта зараза производит отчетливо желтый симптом — эти «СМИ» закономерным течением начинают относить к желтым отмелям на нашей карте журналистики.

Логика закона убывания смысла высказываний совпадает со стратегией тех, кто получает за это деньги, и тропинка

(не такая уж, впрочем, и узкая), которую выбирает большинство «СМИ» (но не все журналисты), приводит к *контенту*. Это уже отнюдь не *содержание*, а скорее наполнитель, и состав его, в принципе, уже не важен. Это нечто, ползущее по трубам, на которых все еще написано «медиа», но которые, по сути, «проводят» уже что-то теплохладное. Большинство этих «СМИ» тихо умерло само по себе даже без заметного (как рубеж) переформатирования, и только их «куклы», или трупы, продолжают «генерировать контент».

Чтобы закончить с «контентом», следует, наверное, рассказать и о моем выступлении перед президентом В.В. Путиным 1 октября 2015 года в рамках его встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Смысл выступления, собственно, сводился к тому, что если в стране есть такие деньги на «СМИ» (пусть это будут хотя бы 35 млрд из региональных бюджетов), то не лучше ли потратить их не на потемкинские деревни, а на поддержание школы и развитие сложных жанров — в общем, не на «СМИ», про которые не всегда понятно, что это такое, а именно на журналистику? Президент все отлично понял, о чем свидетельствовал его быстрый ответ: «Так вы хотите, чтобы вы нас критиковали, а мы вам за это еще и деньги платили?»

К этому мы еще вернемся в главе 19, а тогда следствием моего выступления стало поручение президента СПЧ подготовить предложения по господдержке «СМИ». Денег на это из «президентских грантов» мы не получили, но нашли нужную сумму (небольшую) в фонде «Либеральная Миссия» и провели двухдневный мозговой штурм с лучшими региональными экспертами (журналистами и сотрудниками администраций). В числе других обсуждалось и предложение вовсе отказаться от государственной поддержки «СМИ», но победила та точка зрения, что после десятилетий их сидения на игле «договоров об информационном обслуживании» журналистику это уже не спасет.

Вместе с экспертами были выработаны принципы государственной поддержки и предложены рекомендации, с которыми и сейчас можно познакомиться на сайте Совета

по правам человека. Наряду с общими предложениями относиться к журналистике как к культуре и коммуникативному разуму, смысл сводился к необходимости вкладываться в «человеческий капитал» и к грантовой схеме предоставления поддержки конкретным журналистским проектам. Было сделано и предложение как-то встроить в распределение средств из специального фонда не только чиновников, но и, за неимением лучшего, Союз журналистов России и региональные союзы журналистов, знающие по крайней мере, кто и где чего стоит.

После этого в июле — августе 2016 года в Союзе журналистов прошли неожиданные и подготовленные втайне заседание Федеративного совета и съезд, и в состав его секретариата были кооптированы одиннадцать новых секретарей. По большей части их имена не очень широко известны в журналистике, там оказалось примерно поровну медиаменеджеров и пропагандистов, а также представитель желтого цеха из Life-news. В секретариат СЖР также вошел (забавное совпадение) и тот самый Антон Стуликов — держатель кассы по «договорам об информационном обслуживании» из Екатеринбурга, на показаниях которого строилось уголовное дело Аксаны Пановой. Давать показания в суде — долг всякого гражданина, но это не повод для того, чтобы данный гражданин возглавлял журналистскую организацию. Вместе с тремя другими секретарями Союза журналистов я сложил с себя секретарские полномочия и не знаю, как схема государственной поддержки «СМИ» будет развиваться дальше. Не думаю, что она что-то изменит в сфере смыслов.

Я счел необходимым коротко написать об этом в книжке не чтобы выяснить с кем-то отношения, но имея в виду, что сама эта книжка тоже журналистика в той мере, в какой она рассказывает о фактах, имевших и имеющих до сих пор общественное значение. Это не интрига в некой общественной организации, которая, как и многие другие подобные, была захвачена изнутри и превращена в симулякр «Союза журналистов», — это история российской журналистики, год 2016-й. И раз уж мы считаем, что дело журналистики — разоблачать симулякры, то мы вот это сейчас и сделали здесь — попутно.

А теперь наконец пора объяснить, почему термин «СМИ» я использую в этой книжке чаще в кавычках, и вернуться к ответу президента Путина на мое выступление на Совете по правам человека. Итак, он спросил: «Так вы хотите, чтобы вы нас критиковали, а мы вам за это еще и деньги платили?» Последнее слово осталось за мной — я успел нажать красную кнопку микрофона, чтобы сказать: «Да, именно так». Потом меня еще поддержал Николай Сванидзе. А ведь когда-то, правда очень недолго, в России (нет, тогда еще в СССР) так и было...

ГЛАВА 19. МАТРИЦА «СМИ» И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВИДОВ

Летом 1992 года мы, журналисты тогдашней «Комсомольской правды», жили на дачах Мосдачтреста в Мамонтовке. Дачи полагались всем, начиная с обозревателя. Это были фанерные сарайчики без отопления, на четыре семьи, зато при каждой четвертушке была терраска. Дети скоро научились спать под треск моей пишущей машинки, за водой мы ходили к колонке, уборная была общая, с «очком», зато все это было очень дешево и очень весело. Да, еще был автобус, который возил нас туда с «улицы Правды» бесплатно, хотя нетрудно было добраться и на электричке.

Одну из дач в Мамонтовке занимал в те годы Валя Юмашев, редактор отдела писем «Огонька», а его мама организовывала на дачах детские спектакли. Наверное, после того как он записал воспоминания Ельцина, а затем неожиданно стал его зятем и главой его администрации, Валины представления о даче изменились, как и он сам. Впрочем, я уверен, что если он вдруг прочтет эти строки и вспомнит Мамонтовку, то растрогается и на какое-то мгновение станет собой прежним. А Владислав Фронин — в то время главный редактор «Комсомолки», а теперь «Российской газеты» — жил, разумеется, на другом участке, где были и водопровод и отопление. Он относился к номенклатуре ЦК КПСС, и хотя реально, а к 1992 году и формально, никакой КПСС уже не существовало, та наша, прежняя, жизнь еще катилась по накатанным рельсам.

Эти три года работы в «Комсомолке» (с 1989-го по 1992-й) я часто вспоминал потом как самые счастливые и беспечные в своей жизни. Кроме дачек, нам, разумеется, платили и неплохую по тем временам зарплату, а из доходов от коммерческой деятельности (от «торговли мочевиной» — мы все еще очень смеялись), которой занялся бывший редактор рабочего отдела Владимир Сунгоркин, нам тоже постоянно сваливались какие-то бонусы. И за это за все мы от души кусали руку дающего, резали правду-матку и гробили партию и комсомол и всю систему номенклатуры, которая нас кормила.

Позже я думал, что нам просто повезло, что это было такое случайное историческое завихрение, а вообще-то, так быть не может. Спустя еще годы и поездив по заграницам, я понимаю, что именно так и должно быть: общество должно заботиться о своих органах, в том числе и о тех, которые выводят из организма какашки. Михаил Горбачев, наверное, был единственным в истории России правителем, который это понимал на уровне какой-то своей невербализуемой интуиции, раньше самих журналистов и общества, которое до этого понимания и сегодня еще не дозрело.

А пока на дачах было еще последнее лето социализма. В 1993-м эти дачки будут приватизированы — кому-то (кажется, Володе Мамонтову, который позже ненадолго станет главным редактором «Известий») достанется и моя четвертушка с террасой. Но мы — группа раскольников — тогда уже первыми уйдем из «Комсомолки». Кто-то из нас скоро разбогатеет, кто-то умрет в нищете — в общем, это история о проникновении денег в сферу смыслов и о коммерциализации российских «СМИ».

Летом 1992-го за дощатым дачным столиком под ольхой мы готовили революцию — это было связано с назначенным в «Комсомолке» на ноябрь акционерным собранием. Тогда еще мало кто понимал, что это такое, и я, как человек с юридическим образованием, прямо из головы сочинил «положение о распределении акций», за что потом многие товарищи по «6-му этажу» не разговаривали со мной целые годы.

Акции мы делили не как коммерсанты (я свои вскоре продал и купил за них лэптоп, который загружал программу «Лексикон» с внешней дискеты и объяснялся только по-японски), а как сторонники разного будущего пока еще общей газеты. Программы были, в общем, понятны, хотя письменно, кажется, никогда не формулировались. В самом общем виде, Сунгоркин, который уже успел проникнуть в тайны медиабизнеса, предлагал модель таблоида, почерпнутую где-то за границей. Другая партия, лидерами которой были Сергей Кушнерев (впоследствии ушел на телевидение), Сергей Кожеуров и Дмитрий Муратов (оба теперь — «Новая газета»), предлагала серьезную общественно-политическую

модель с критикой теперь уже власти Ельцина. Владислав Фронин поддерживал Сунгоркина, так как голосование влекло перераспределение мест в редколлегии и в случае нашей победы он потерял бы пост главного редактора, хотя сторонником таблоида он не был.

Большинство голосов собрала программа Сунгоркина, обещавшая деньги и веселую жизнь. И в этом смысле он никого не обманул. Все, включая Сунгоркина, обманулись в другом. Он говорил так (это не цитата, но по смыслу): пусть на последней полосе у нас будет голая задница, зато на первых мы сможем дать настоящую аналитику, а в середине — очерк. Но это не получилось в одном издании: «задница» быстро перевесила все остальное, а очень скоро к ней прилепилась и ищущая больших аудиторий пропаганда.

Первая большая группа журналистов ушла из «Комсомолки» сразу же после того акционерного собрания — часть из них впоследствии создала «Новую газету». Другая разбрелась по сторонам, в том числе на телевидение. Вторая большая группа во главе с Фрониним тоже не пережила заболевание «желтухой» и через какое-то время ушла в «Российскую газету», где вскоре заняла ведущие позиции.

Вслед за «Комсомолкой» по пути акционирования пошли и другие федеральные газеты, и никому из них, кажется, это счастья не принесло. Скандальней всего скупка акций конкурирующими коммерческими «китами» происходила в «Известиях», что почти как детектив в книжке «Звездные часы и драма “Известий”» описал последний главный редактор еще тех «Известий» Василий Захарько. Новые владельцы перепродавали уже не столько бренд, сколько большое здание «Известий» на Пушкинской площади — сейчас там масса каких-то фирм, в типографии модная концертная площадка, а сама эта знаменитая когда-то газета сегодня даже не заслуживает того, чтобы обсуждать ее всерьез. Жаль, я когда-то успел там поработать год, и это о вертикальных медиа — об отношении власти к памятникам культуры, каковым прежде «Известия», безусловно, были.

«Комсомолка» же, расколовшись натрое, обозначила сразу все три ветви, на которых затем окажутся рассеянными все

российские «СМИ». Мы можем условно назвать даже дату этого «происхождения видов» — день акционерного собрания 13 ноября 1992 года. Эти в разной степени перессорившиеся секстры суть официоз и пропаганда («Российская газета»), критика и рефлексия («Новая газета»), развлечения и таблоид («КП»).

Разумеется, это деление не абсолютное: в «СМИ» в основном развлекательного характера могут появляться и серьезные журналистские высказывания; например, в мужских журналах, ориентированных явно не на рефлексию, можно встретить тем не менее хорошую финансовую аналитику. Тем более это касается официозных «СМИ», которые еще могут за государственные деньги позволить себе и роскошь очерка. Но и, наоборот, критические медиа сознательно разбавляют свою угрюмость в той или иной степени развлекательными и «человеческими» материалами. Есть и опыт «Московского комсомольца», где, пожалуй, более или менее нашупан баланс между журналистикой и желтым таблоидом, но это можно с уверенностью говорить только о федеральном, а не о многочисленных региональных его выпусках.

Теперь нам надо вернуться к тому, о чем мы уже много говорили и что является одним из главных утверждений этой книжки: журналистика, как и пропаганда, и развлечения, в которых участвуют медиа, — это *общественные отношения*, где авторы с какой-то точки зрения даже менее важны и заметны, чем пользователи («публика»). Так получается, что разделились и разбежались не столько газеты, сколько их постоянные читатели. То же самое касалось бы и телезрителей, но на федеральных каналах в последние годы не стало серьезных и непропагандистских аналитических передач — значит, эти *отношения* со всей их аудиторией из «телезрительского» перешли в какое-то другое пространство.

Такое же размежевание аудиторий намечалось и в советской прессе, где одни читатели начинали с передовицы, а другие сразу с новостей спорта на последней странице, редко добираясь до официоза. Но после «развода между секстрами» и внезапного размножения российских медиа в начале девяностых шансы на то, что любитель спорта прочтет

аналитику или в перерыве хоккейного матча переключится на новости, оказались малы. Слушатель «Эха Москвы» вряд ли станет слушать «Юмор FM», и редкий слушатель «Нашего радио» иной раз переключится на радио «Орфей», хотя найдутся и такие.

Такое же распределение (с частичным пересечением кругов) мы наблюдаем и во всех секторах российского медиапространства (газеты, телевидение, социальные сети), и на всех этапах существования медиа (как платформ коммуникации). В любом регионе одни газеты и сайты будут ориентированы на аналитику (журналистику), другие — больше на развлечения, третьи — на официоз и пропаганду. Однако если мы обратимся теперь к типичной ситуации в западных медиа (а сама традиция того, что у нас называется «СМИ», как ни крути, западная), то там мы обнаружим несколько иную картину.

Во-первых, западная аудитория давно и четко разобралась в том, какие медиа работают в «серьезном» секторе, а какие — в сфере развлечений: читатель The Guardian никогда по ошибке не купит The Sun, и такой феномен, как сегодняшняя «КП», позиционирующая себя как «общественно-политическое издание», там просто невозможен (наша аудитория, впрочем, тоже постепенно начинает постигать эти азы медиаграмотности).

Но, что гораздо неожиданней для россиянина, в картине западных медиа мы вообще не встретим таких, для кого главной специализацией окажутся пропаганда и официоз. Официальные пресс-релизы государственных и муниципальных органов публикуются на сайтах или в их специализированных, обычно очень скромных и неиллюстрированных бюллетенях, но никак не в центральных газетах вроде «Российской» или ее региональных аналогов. И хотя сейчас, особенно после выборов президента в США, на Западе много разговоров о пропаганде, в тамошних медиа элементы пропаганды можно встретить лишь на уровне формирования повестки или встроенными в комментарии в качестве «мнения». То есть в странах, где когда-то впервые появились массмедиа (исключая Германию тридцатых-сороковых годов XX века), никогда не существовало таких медиа, которые были бы

рассчитаны целиком на внутреннюю пропаганду (впрочем, и внешняя, вроде радио «Свобода» времен СССР, никогда не была так прямолинейна, как нынешняя российская).

Разгадка этой кажущейся тайны проста: на пропаганду никогда не бывает достаточного платежеспособного спроса, а на официоз он всегда есть, но весьма ограниченный самой целью его «потребления», и эти направления в медиа могут существовать только за чей-то счет (как мы скоро увидим, необязательно государства).

Более того, если мы вернемся к мысли о том, что пропаганда (как и журналистика) есть *коммуникация*, невозможная без второго полюса в виде «публики», то увидим, что и в СССР эта клетка была, а в сегодняшней России остается полупустой: то, что пропаганда появляется в «СМИ», еще не свидетельствует о том, что она находит у кого-то отклик. Можно крутить в пустом кинотеатре любое кино, можно даже сделать вход туда бесплатным, но если зритель не придет, то как такового «кина не будет». Эффект дает только более изощренное перемешивание пропаганды «в компоте» с развлечениями, и это хорошо понимает всякий профессиональный пропагандист, но значительная часть официоза в российских «СМИ» просто уходит под нож при уничтожении невыкупленного тиража. То есть пропаганда и официоз в российских «СМИ», так разительно отличающие их от западных медиа, суть все та же потемкинская деревня, а на уровне коммуникаций «публика» точно так же, как и везде, распределяется между любителями развлечений и теми, кто заинтересован в серьезном дискурсе.

Рыночный доход приносят таблоиды, а официоз существует за наши с вами деньги — деньги налогоплательщиков. Тут мы начинаем лучше понимать все лукавство любимой мантры замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина: «СМИ — это бизнес». Мы понимаем, какой и на чем это «бизнес». Но если это чаще всего тот еще «бизнес», то что такое в России «СМИ»?

Само понятие «средства массовой информации» давно стало бессмысленным. Совсем отказаться от него мы не мо-

жем, так как он сохраняет юридическое значение; например, к ответственности можно привлечь «СМИ». Но с точки зрения журналистики «СМИ» не объясняет уже ничего. В «средствах массовой информации» прежде всего исчезающе мало информации как таковой, о чем мы уже много говорили. Заявка на «массовость» отчетливо упирается в рассмотренную нами проблему замкнутых дискурсивных контуров, да и сама по себе журналистика как рациональный дискурс явление не такое уж «массовое».

Буквального эквивалента понятию «СМИ» в других языках нет, в общепринятом *mass media* присутствуют совершенно другие акценты. Примечательно, что в нынешнем виде этот термин потерял еще одно прежде бывшее в нем слово: в постановлениях ЦК КПСС и многочисленных советских монографиях и справочниках он звучал еще как «средства массовой информации *и пропаганды*», то есть СМИиП. Откровенней всего на самом деле здесь звучит не указание на пропаганду, а само слово *средства*. Отношение к печати и вообще к культуре как к «средству» (перевоспитания, воодушевления и т.д.), несомненно, восходит к работам Владимира Ленина, который всегда уделял пропаганде огромное внимание.

Но отношение к медиа, а заодно и к журналистике как к «средству», по-видимому, было характерно не только для советской России. У меня есть гипотеза (она требует проверки историками, и я не буду на ней настаивать), что в России, догонявшей страны Запада гораздо быстрее в техническом, чем в социальном и политическом, отношении, печатные журналы и газеты не прошли тот же путь, что их западные предшественники, перескочив через его начало. В европейских странах медиа возникли, чтобы в первую очередь удовлетворить всегда существовавшую потребность людей в высказываниях и в горизонтальной коммуникации, а затем уж ловкие предприниматели повесили на них рекламу в целях извлечения прибыли, а правительства разглядели ни с чем не сравнимые возможности манипуляции. В России же времен возникновения журналов ни такого числа желающих высказаться, ни развитых капиталистических отношений не было, и из медиа изначально извлекался в первую очередь

их пропагандистский потенциал. Это касалось и антиправительственных изданий, существовавших на деньги владельцев или спонсоров, — таковы и «Колокол» Герцена, и ленинская «Искра» (хотя, разумеется, они были и ответом на запрет власти на рефлексию в легальном публичном пространстве). О советском периоде нечего и говорить. Точно так же, по-видимому, «СМИ» возникли, например, и в социалистическом Китае, где мне случилось как-то коротко познакомиться с их устройством и деятельностью.

«СМИ» — это с самого начала не тот же феномен, что медиа. В медиа пропаганда проникает уже после того, как они появились с другой целью, а «СМИ» именно для нее и создаются. И хотя впоследствии в них также проникает журналистика (как культура и развлекательность или даже как полезный и допускаемый властями способ выпуска пара), родовая травма *средства* как рабства преследует «СМИ» на протяжении всей их истории. Власть в России, впрочем, тоже подвержена почти религиозной вере в силу СМИиП, в то, что с их помощью она может изменить и самую реальность, и собственное место в ней.

Понятие «матрицы российских СМИ» как глубинного кода, заставляющего их раз за разом и даже при изменяющихся условиях воспроизводить одну и ту же структуру, предложил профессор Иосиф Дзялошинский. Мне представляется, что *кодом* является здесь отношение к «СМИ», а заодно и к журналистике (и журналистам) как к *средству*. Этот код не остается лишь внешним фактором, определяющим отношение власти к «СМИ», он зашит в сердцевине матрицы: воспроизводится также и журналистами или признается ими по умолчанию. В широком смысле это вообще *российская матрица* — в рамках нее не только власть рассматривает «народ» как средство, но и «народ» точно так же понимает свою собственную общность и свой специфический «патриотизм».

Тем же самым отношением (настолько несомненным, что даже и не осознаваемом на рефлексивном уровне) был исполнен и вопрос президента Путина: «Так вы хотите, чтобы вы нас критиковали, а мы вам за это еще и деньги платили?» Это

возведенное чуть ли не в закон в смысле всеобщности действия «кто девушку ужинает, тот ее и танцует» есть, в общем, закон цинизма и аморальности. То же самое, по сути, сказал и министр культуры Владимир Мединский в ответ на выступление Константина Райкина о цензуре в октябре 2016 года: государство готово поддерживать культуру только в той мере, в какой она ему не сопротивляется и остается его «средством».

Однако «средства» подразумевают инструмент одностороннего действия, как молоток, которым можно, конечно, что-то вбивать в головы, но не во все и не по любому поводу. И даже в СССР, жестко контролировавшем все средства копирования (распространения), одно время даже вплоть до пишущих машинок, журналистика тем не менее развивалась как в, так и вне «СМИ» — в самиздате. Сегодня, когда затраты на создание платформ коммуникаций стремятся к минимуму, а средства контроля просто не успевают за ними, пространство таких платформ приобретает сложный вид. В нем присутствуют как медиа в западном понимании, так и «СМИ» в специфически российском, при этом журналистика, как ток свободного рационального дискурса, может частично проходить и через медиа, и через «СМИ», а также и в обход тех и других в интернете.

Дмитрий Муратов рассказывал мне как-то о первом их с Горбачевым визите в Кремль по приглашению Дмитрия Медведева, кажется, еще в 2008 году — о нем, в отличие от второго, в печати не сообщалось. Горбачев, живо оглядевшись в своем бывшем кабинете, отметил «евроремонт», а потом, когда подали чай, сказал задумчиво: «А бараночки-то все те же!..» Должно же быть хоть что-то вечное во власти! Муратов же к концу встречи как бы между прочим спросил у Медведева: «А как у нас, вообще, со свободой слова?» На что тогдашний президент дал удивительный ответ, позволяющий понять взгляд власти и на этот вопрос, и вообще на сферу смыслов: «Технически все свободны».

В «Новой газете», куда я вернулся работать в 2003 году, я несколько лет просидел в кабинете отдела культуры — просто не было другого. Однажды на работу пришла Лариса

Малюкова — кинокритик международного уровня, участник жюри самых престижных мировых кинофестивалей, — и вид у нее был расстроенный. Я спросил, что случилось. Она рассказала: «Мне предложили работу на телевидении с зарплатой в три тысячи долларов (если я правильно помню). А я отказалась — вот и расстроилась». Это и есть свобода слова. Свобода ведь не дается даром, за нее же надо платить? Вот Малюкова и платила за свободу слова тогда ежемесячно примерно 2,5 тыс. долларов (разница между зарплатой на телевидении и в «Новой газете» в то время), и продолжает платить, как и мы все — кто-то больше, а кто-то меньше, — в зависимости от востребованности «на рынке». Точно так же за возможность говорить правду платят и редакции, и их редакционные коллективы.

Это было еще задолго до демонстрации на Болотной в мае 2012-го, после чего власть насупилась и не только сильно ограничила возможности получения средств, исключив возможность обращаться к зарубежным фондам, но и начала использовать в отношении «СМИ» тактику «минного поля» (см. главу 17). Но и сегодня ситуация в целом остается «рыночной»: всякий, кто готов от чего-то отказаться, может за это купить себе право на журналистское высказывание. Так всегда было и так будет: «технически» мы эту свободу высказывания получили вообще не от государства.

В этой книжке я сознательно ухожу от экономических аспектов медиа, поскольку мало что в этом смысле и могу давать лишь самые общие оценки. Важнейшая из них состоит в том, что журналистика как культура — дело всегда и весьма затратное, требующее времени и квалификации (которая тоже есть время, потраченное на обучение и опыт), и в редких случаях может выжить сама по себе за счет рекламы и тем более продаж.

Но если медиа с их материальной структурой — это всегда так или иначе «бизнес» (пусть даже в условиях господдержки включающий в себя и коррупционную составляющую), то *журнализм — это никогда не бизнес*, а эмпирическая журналистика по факту лежит где-то между ними. Партнерство между журналистикой и медиа возможно и естественно, но между

ними существует и *антагонистическое противоречие*, которое воспроизводит в сфере смыслов фундаментальное для человека противоречие между его душой и телом. Понятно, что материальное надо кормить и как-то обустроить, но та мера идеального, которым приходится ради этого жертвовать, должна каждый раз обсуждаться — как между доктором Фаустом и Мефистофелем.

Разумеется, профессиональные медиа со своей материальной структурой, включающей также бухгалтерию, отдел кадров и т.д., не говоря уже о расходах на типографию (сигнал), не могут позволить себя такой легкости в отношениях со свободой слова, как отдельный журналист, чаще всего имеющий возможность уйти на запасной аэродром. Главному редактору приходится чаще идти на тем большее число компромиссов, чем больше и тем самым затратнее журнализм как содержание данного медиа. Но я не главный редактор, и о том, как это бывает, лучше спрашивать не у меня.

В новейшей российской истории (в СССР) был короткий период настоящей свободы слова, описанный мною в самом начале этой главы, когда медиа было позволено (увы, опять же «сверху») играть отведенную им роль организаторов общенационального общественно-политического дискурса за счет налогоплательщиков. Кто постарше, тот помнит очереди у киоска «Московских новостей» на Пушкинской площади (кажется, газета выходила в то время по средам), а на «Огонек» можно было подписаться только по блату из-за дефицита бумаги. Не за «информацией» же выстраивались эти очереди — все хотели участвовать в дискурсе, пусть даже в качестве «публики». Люди искали что-то понять о себе и о том обществе, которое они создали, советские люди становились гражданами в настоящем смысле слова, в ожесточенных спорах рождалась нация, которой «советский народ», как выясняется, так и не стал. Увы, этот процесс оборвался в 1991-м, хотя тогда казалось, что на баррикадах у Белого дома он только начался.

Последующие действия российской власти (как президента Ельцина, так и Верховного Совета, противостоявшего

ему) никак не вытекали из предшествовавшего им дискурса — все это было только борьбой за власть (разумеется, это мой субъективный взгляд). А вскоре и большинство медиа тоже пали жертвой этой борьбы, воспроизведя советскую (российскую) *матрицу «средств»*. Первым, как наиболее эффективное и дорогостоящее «средство», пало телевидение, но за ним «обратно в матрицу» свалились и все остальные. Рубежом стали (и это уже не только мое мнение) вторые президентские выборы, точнее второй тур между 16 июня и 3 июля 1996 года. 19 июня два представителя предвыборного штаба Ельцина были задержаны при выходе из Белого дома со знаменитой «коробкой из-под ксерокса» (из-под бумаги марки «Ксерокс»), где было аккуратно упаковано 538 тыс. USD, предназначенных на кампанию «Голосуй или проиграешь», поддерживаемую медиа. Тот факт, что большая часть этих средств, вероятно, еще и расхищалась, не меняет сути. Основные российские «СМИ» обошли молчанием второй инфаркт Ельцина, случившийся 26 июня, хотя журналистам о нем было точно известно. Более того, этот факт, имевший несомненное общественно-политическое значение, ими (нами) даже опровергался из-за опасения победы на выборах и прихода к власти коммунистов в лице Геннадия Зюганова.

В главе 21 мы рассмотрим вопрос об ответственности журналиста как историка и как того, кто вольно или невольно может изменить сам ход истории. В 1996 году журналисты (организованные вокруг медиа) однозначно изменили ход российской истории, обеспечив рост рейтинга Бориса Ельцина с 3% до необходимого ему для победы на президентских выборах. Мы не можем знать, что было бы в противном случае. Но мы знаем, что «СМИ» пришлось заплатить за это свободой, которую они надеялись таким образом утвердить. Можно было бы даже красиво сказать, что они пожертвовали собой, — если бы не «коробка из-под ксерокса». Что же касается второго президента РФ Владимира Путина, то не он изобрел эту «матрицу», он даже не столько выстроил систему пропаганды, сколько просто сумел сделать себя ее главным ньюсмейкером.

Заканчивая эту главу, получившуюся «исторической», проследим судьбы «сестер», с развода между которыми

мы ее начали. В своих финансовых нишах они поживают по-разному. Желтая журналистика расцвела махровой, чем это было бы естественно исходя из обычных человеческих наклонностей; наверное, это следствие обмеления в той сфере, где еще водятся смыслы. У Владимира Сунгоркина есть многочисленные эпигоны, в том числе и прежде всего на телевидении, но к ним трудно относиться с тем же уважением, что к нему самому, ставшему первопроходцем и сделавшему то, что он обещал.

«Российская газета», как и ее многочисленные, хотя, как правило, гораздо менее интересные клоны в регионах, — это возвращение к социалистической модели «СМИ», когда государство «в плановом порядке» перераспределяет средства на пропаганду в пользу самого себя. Впрочем, при социализме труд журналистов, занятых в этом секторе, ценился выше и уважался значительно больше.

Не совсем понятным, в том числе мне самому, остается вопрос, как существует «Новая газета» и время от времени возникающие ее последователи в провинции. На различных встречах мне (нам) много лет задают один и тот же вопрос: «Почему вас до сих пор не закрыли?» Стандартный ответ гласит, что «Новая газета» — «витрина для Запада», но это лишь часть истины, и, я думаю, не главная. По существу же, главный ответ состоит в том, что ограничить свободу тех, кому не так много и нужно, значительно сложнее, чем тех, у кого есть интересы «в бизнесе». А журналистика — она вырастет сама собой.

На какие конкретно деньги существует «Новая газета», я, проработав в ней пока четырнадцать лет, честно, не знаю, это не моя компетенция, а журналистский интерес к этому вопросу я сам себе запретил. В первые годы компьютеры и еще что-то купил Михаил Горбачев, но потом деньги у него кончились. Известно, что на начальном этапе, еще будучи слабой, газета лавировала так же, как делают это коллеги в провинции, и только затем встала как скала. Понятно, что лет десять значительную часть средств давал банкир Александр Лебедев — по каким соображениям, это ему знать, но я свидетель, что в редакционную политику он никогда

не вмешивался. В «Новой газете» мы никогда богато не жили, зато все эти годы в ней сохраняется тот дух и драйв, который нельзя купить и посадить, как рассаду, в каком-нибудь тухлом навозе — он возникает сам по себе. Хотя минимальные тепличные условия для его существования и концентрации необходимы, и тут, несомненно, заслуга главного редактора. «Новую газету» можно рассматривать и как чудо, хотя, глядя на ее феномен со стороны журналистики, ничего сверхъестественного мы не увидим: «дыша, где хочет», журналистика тяготеет к «узловым станциям», обеспечивающим наиболее широкое ее распространение, а таких «станций» было и остается немного.

Иногда, обсуждая этот вопрос между собой, мы задним числом удивляемся и радуемся тому, что никто не предложил «Новой газете» в период ее становления каких-то больших денег — сразу прибежали бы какие-то совершенно другие люди, и ее бы не стало. А может, потому и не предлагали, что люди в «Новой газете» были явно «не те».

А встречаемся мы, уже далеко не юные дети старой «Комсомолки», теперь чаще всего на похоронах — память-то у нас общая.

ГЛАВА 20. КОЛЛЕГИЯ И «КОЛЛЕГИ»

«Собака Гарма предупреждала ведь Левина: рычала, когда они снимали, а так вообще она добрая. В отличие от хозяина, Гарма, видно, сразу учуяла, что это НТВ. В пересчете на человеческий возраст ей примерно столько же лет, сколько Левину, с кем она делит в Якутске директорский кабинет в типографии издательского дома “Норд-пресс”, а ему на будущий год стукнет уже 80. Леонид Ирмович Левин — создатель и издательского дома, и многих независимых и популярных газет, и вообще в российской журналистике личность легендарная. “Я уже большой мальчик, — гудит он мне по телефону, — много пережил и это тоже переживу. Но нельзя же так, обманом входить в дом... Запиши так: я гневаюсь...”

Сначала они снимали в типографии, и Левину стало мальчишек жалко: зимой (в феврале 2016-го) они прилетели в Якутию в курточках и стучали зубами. Он отпаивал их чаем, но документы все же спросил, и тот, который, типа, корреспондент, порывшись, достал паспорт, по которому он Виктор Пызин. А может, и не Пызин. В гостинице, где они, с их слов, останавливались в Якутске и где, спохватившись, стал их искать Левин, никто про них даже не слышал. И карточка в телефоне у них оказалась якутская и на другое лицо.

Интересно: они так в шпионов играют или, в самом деле, боятся, что кто-нибудь их после поймают и будет морду бить?

По телефону из Москвы “Пызин” представлялся независимым продюсером, и лишь потом тот зам Левина, которого он для них поднял из постели с гриппом, вспомнил, где его раньше видел: это же один из авторов “Анатомии протеста”!

А сначала вопросы были, правда, про журналистику — Левин с гордостью показывал им полиграфическую машину, купленную за полмиллиона долларов в кредит, а оператор снимал. Но “Пызин” все время косился на мобильник (другой, не с якутской карточкой) и повторял: “Жду технического задания... Жду технического задания...”

Наконец, телефон позвонил, “Пызин” это самое задание якобы получил и перешел к существу дела: “Скажите,

а правда, что при вашей типографии организован гей-клуб?” Тут надо понять: это кому вопрос? Левину! Про которого, когда он был еще только чуть помоложе, в Якутии слагались легенды, какой он жуткий бабник...

А дальше, как по маслу, пошло про Украину. Тут дело серьезней. “Якутск Вечерний” (главная газета Левина) выпустил не одну подписанную им (а вовсе не псевдонимом, как утверждает НТВ) полосу о событиях в Киеве, которые “Пызин” и др. вряд ли прочли. Но Левин, переехавший в Якутию в 1965-м, в Киеве вырос. И не просто вырос, а пережил войну, а несколько его дядей и тетей ее не пережили — нашли свою смерть в Бабьем Яру.

Поэтому не этим мелким анонимным тварям с НТВ учить Левина, что ему писать или не писать об Украине... (извините, это я тоже “гневаюсь”).

В общем, вот так делаются “ЧП-расследования”. Эти двое бегали по Якутску и всех спрашивали, кто расскажет про Левина гадость. Нашли одного, который только что проиграл его газете суд и должен денег за перепечатки из нее без спросу».

Я дословно привел начало моей заметки, напечатанной в «Новой газете» 9 марта 2016 года — через два дня после выхода в эфир «расследования» НТВ «Должники Госдепа». Оставшуюся часть сюжета изложу вкратце. С помощью таких же приемов четыре съемочные группы НТВ одновременно (я посчитал из любопытства, что их командировки должны были обойтись «Газпром-медиа» примерно в миллион рублей) сняли «интервью» с главным редактором отключенного телеканала «ТВ2-Томск» Виктором Мучником, главным редактором газеты «Челябинский рабочий» Борисом Киршиным и с главным редактором газеты «Мой район» в Санкт-Петербурге Григорием Кунисом. Эти медиа были выбраны по признаку того, что все они в разное время, начиная с девяностых, получили кредиты от MDLF — Media Development Loan Fund (позже переименован в Media Development Investment Fund) со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Если на НТВ было некому перевести, то по-английски loan — это «кредит». НТВ как-то пропустило эту деталь, гово-

ря просто о «деньгах» и даже о «грантах». Идея MDLF, который был учрежден при участии все того же Джорджа Сороса, но, как всякий фонд, собирал деньги частных инвесторов (только не «Госдепа»), состояла как раз в том, что частные медиа (о деньгах для государственных «СМИ» речь, естественно, вообще не шла) надо не развращать грантами (которые тот же Фонд Сороса часто давал на другие цели), а предоставлять им кредиты на развитие. Такие кредиты, правда под меньшие, чем в России, проценты, получили от MDLF многие российские региональные СМИ. На них было закуплено типографское, съемочное и другое оборудование, которое до сих пор исправно служит российской журналистике. Фонд и сейчас продолжает работать по всему миру, хотя в России — по понятным причинам — свою деятельность почти свернул.

НТВ забыло рассказать и о том, что все кредиты тех четырех медиа, которые попали в «расследование» как «должники Госдепа», были погашены. Не погасило кредит по каким-то причинам только агентство «Тульские новости». Его-то владелец Андрей Мазов (член Общероссийского народного фронта) и выступил в передаче НТВ положительным героем и главным разоблачителем фонда MDLF. Когда я работал над той заметкой, в фонде мне рассказали (как сообщили бы и НТВ, если бы те по ходу «расследования» позвонили туда), что к «Тульским новостям» предъявлен судебный иск о взыскании долга.

Кроме искаженных монтажом интервью, в «расследовании» НТВ использовались реплики третьих лиц, вырванные из контекста, съемки скрытой камерой неизвестного происхождения, густой закадровый и собственный синхронный текст корреспондентов НТВ, который они выкрикивали на фоне закрытых дверей и табличек.

28 апреля 2016 года Общественная коллегия по жалобам на прессу рассмотрела жалобу на передачу «Должники Госдепа», поданную гендиректором ИД «Норд-пресс» Левиным, гендиректором и главным редактором газеты «Челябинский рабочий» Киршиным и главным редактором телеканала «ТВ2-Томск» Мучником, а также гендиректором ИД «Алта-пресс» Юрием Пургиным, который был упомянут в передаче,

хотя к нему в Барнаул вовсе никто не приезжал (а может, приезжали на разведку, но поняли, что это совсем бесперспективно). Я в этом заседании как член коллегии не участвовал, так как, отписавшись сразу после выхода «расследования» НТВ в эфир, взял самоотвод.

Вот цитаты из решения коллегии (с большими сокращениями), опубликованного на ее сайте 12 мая. Фильм «Должники Госдепа», который миллионы телезрителей увидели в прайм-тайм, говорится в решении, является «намеренно не прямой, завуалированной под результат “журналистского расследования”, но при этом определенной (по установкам авторов, по смыслу и построению, по содержанию “мнений” привлекаемых “экспертов”) попыткой публичного обвинения в тяжком государственном преступлении: измене Родине». «Базируясь на доктрине информационной войны... создатели фильма воспроизводят известные способы конструирования “врагов народа”. Цель достигается через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание аудитории». Коллегия «находит попытку очернения людей, представленных в фильме “антигероями”, злонамеренной, позорной для ее инициаторов и исполнителей». Коллегия «определяет жанр материала как заведомо ложный донос».

Пожалуй, решение написано чересчур эмоционально, но это следствие того, что оно далеко не первое (и не последнее, уже в августе 2016 года коллегия рассмотрела точно такую же по смыслу жалобу ассоциации наблюдателей на выборах «Голос»), и никакой реакции со стороны НТВ это не вызвало. Общественная коллегия по жалобам на прессу в последние годы рассматривала и признавала справедливыми жалобы заинтересованных лиц также на другие каналы Центрального телевидения, «Комсомольскую правду», «Аргументы и факты», «Российскую газету», «Московский комсомолец», «Известия», многочисленные региональные печатные и интернет-издания. Со всеми решениями можно познакомиться на сайте коллегии — это весьма богатый материал, хорошо иллюстрирующий ситуацию в российских «СМИ» и вообще в медиасфере страны.

Создание российской Общественной коллегии по жалобам на прессу было вдохновлено аналогичными институтами саморегулирования медиа в Англии, имеющими уже давнюю традицию. В 2011 году, после скандала, который был вызван подкупом таблоидом News of the World оператора, отправлявшего СМС-сообщения от лица девочки Милли Даулэр, на самом деле убитой еще в 2009 году, прежняя организация саморегулирования из журналистской солидарности встала на сторону News of the World, вынеся решение против разоблачившей его The Guardian. Эта история, в ходе которой вскрылись еще и факты покровительства таблоиду со стороны высоких руководителей парламентских партий, вызвала грандиозный общественный скандал и предложение в парламенте ввести государственное регулирование медиа (в Англии нет законодательства о медиа, и суды выносят решения на основе прецедентного права). Владелец News of the World Руперт Мэрдок был вынужден закрыть эту газету, выходявшую 168 лет и бившую все рекорды по тиражам (желтая пресса популярна не только в России).

Парламент поручил расследование комиссии лорда-судьи Брайана Левесона. Левесон предостерег британский парламент от последствий госрегулирования медиа для свободы слова, и комиссия под руководством бывшего председателя Верховного суда лорда Николаса Филлипса приступила к подготовке и согласованию устава The Independent Press-standard Organization — IPSO, работа над которым продолжалась два года. В декабре 2014 года, когда мне повезло посетить IPSO в составе группы российских журналистов, соответствующее соглашение было подписано 1200 медиа, в основном региональными. Организация имела председателя и штат экспертов, содержавшийся за счет отчислений газет пропорционально их доходам, и бюджет IPSO составлял 2,5 млн фунтов в год. К тому времени ею было рассмотрено 2300 жалоб, в основном на некорректные высказывания, а вынесенные решения (в виде штрафов в пользу героев публикаций и читателей) неуклонно выполнялись, поскольку это обходилось редакциям заведомо дешевле, чем судиться с теми же истцами. От признания юрисдикции IPSO в то

время воздержались наиболее солидные медиа (как та же The Guardian), которые заявили, что и так придерживаются журналистских стандартов и имеют собственные внутренние механизмы разрешения информационных споров.

На российском и английском примерах мы говорим как будто не о разных странах, где существует «одна и та же» журналистская профессия, а о двух разных планетах. Хотя сами нарушения журналистской этики чаще всего идентичны (приемы таблоидов везде одинаковы), отношение к ним и ответственность за них совершенно разные. В России законодатель постоянно подвигает неочевидную «двойную сплошную», и деятельность «СМИ» регулируется в основном запретами (глава 17), а в Англии (мне не так хорошо известен опыт других стран) саморегулированием медиа дорожат не только они сами, но и законодатель. Если резюмировать эти отличия, они основываются лишь на одном простом факте: в Англии есть журналистское сообщество, а в России его, увы, нет.

Российская Общественная коллегия по жалобам на прессу задумывалась как институт третейского саморегулирования. Ряд медиа заявили о признании ее юрисдикции (некоторые потом от этого отказались), но те «СМИ», на которые затем и стали чаще всего поступать жалобы, предпочитают ее не признавать. Поскольку модель третейской процедуры оказалась работающей лишь для небольшой части споров (чаще всего они связаны с жалобами на региональные медиа), а обоснованные жалобы поступают и на те «СМИ», которые заявляют, что признают лишь судебный способ выяснения отношений, коллегия стала рассматривать жалобы также и в отсутствие «надлежаще извещенного ответчика», снимая с «истца» обязательство не обращаться по тому же поводу в суд.

Чем выше формальный статус медиа, тем, как правило, меньше шансов на то, что кто-то из его представителей согласится принять участие в заседании. В кулуарных и даже публичных откликах на эти решения те журналисты (не поставит ли кавычки? — нет, подождем, этот тезис еще надо доказать), которых они касаются, обычно подвергают сомнению статус коллегии или квалификацию ее членов, а в поддержку

своей позиции ссылаются на собственную «популярность» (как Андрей Караулов, например).

Общественная коллегия по жалобам на прессу в 2005 году сменила ранее выполнявшее те же функции Большое жюри Союза журналистов России. Обе эти организации были созданы по инициативе Михаила Федотова — одного из соавторов российского закона «О средствах массовой информации» и секретаря Союза журналистов России. В отличие от Большого жюри в уставе Общественной коллегии прописан сложный, но придающий ей бóльшую легитимность механизм формирования: зарегистрированные общественные организации выдвигают кандидатуры из числа известных журналистов или специалистов в медиасфере в палаты «медиаобщества» и «медиааудитории», а затем они же голосуют за кандидатов. Выдвижение кандидатур, как и все процедуры, является открытым, что, в принципе, снимает вопрос об источнике полномочий Общественной коллегии: это орган саморегулирования. Впоследствии по каждой новой поступившей жалобе из числа членов обеих палат формируется на добровольной основе коллегия *ad hoc*, которая рассматривает спор и выносит решение консенсусом.

Конечно, можно задавать классический вопрос: «А ты кто такой?» — и меряться разными рейтингами и регалиями (вон у сотрудников НТВ сколько орденов!), однако аргументы тех, кто настаивает на нелегитимности коллегии, теряют в весе, если посмотреть, на что она опирается при вынесении решений. Это общепризнанные (как на международном уровне, так и в многочисленных российских соглашениях и хартиях) профессиональные стандарты, отвергая которые любой журналист фактически перестает признавать себя таковым. Ведь невозможно утверждать, например, что порочащие выводы можно основывать на одном, заинтересованном и к тому же зачастую анонимном, источнике информации или что в формате расследования можно не предоставить слово всем сторонам конфликта. С этим нельзя спорить даже со ссылками на «политику» — такой спор оказывается уже в другой, чисто политической, а не профессиональной, плоскости.

Представители статусных «СМИ» отказываются приходить на заседания коллегии и к коллегам по той причине, что они не могут ничего возразить, у них нет аргументов. «Непризнанные» решения Общественной коллегии по жалобам на прессу тем не менее висят на ее сайте, выполняя пока тем самым не столько важную для сообщества функцию саморегулирования, сколько «журналистскую» функцию фиксации общественно значимых фактов: все ходы записаны, и через сколько-то лет историю российской журналистики будут изучать в том числе по этим решениям.

В предыдущей главе мы говорили от том, как разошлись в разные стороны профессиональные медиа, бывшие «СМИ». А что произошло с теми журналистами, которые продолжают работать в них?

Когда еще в девяностых параллельно с работой в газетах я подвизался стрингером на радио «Свобода», главным редактором московской редакции был Савик Шустер, приехавший из Италии, а отдел новостей возглавлял Владимир Кулистиков. Я до сих пор считаю его своим учителем в новостной журналистике (в «Комсомолке» я сразу взялся за очерки) — я не знаю другого редактора, который бы так точно понимал, что такое новость, куда и как ее надо ставить, что важно, что не важно и чем ее обрамлять. И впоследствии со всем этим опытом, знанием и мастерством он сделал вот такое вот НТВ: служба!..

Не так сложно стать журналистом, как трудно удержаться в этой профессии, где тебя окружают самые разные соблазны: славы, денег, «изменения действительности», то есть прямой политической деятельности. Ведь и проблема пропаганды изнутри оказывается гораздо сложнее, чем на первый взгляд. Пропагандист, делающий свою работу с охотой, приближается к журналисту, тоже ангажированному собственной позицией или позицией своего «СМИ», которую он может разделять и лишь принимать и за свою собственную («фундаментальная ошибка атрибуции»). Тем более это касается паразитов, в чьей работе много вроде бы журналистского азарта, а общественная значимость или пустячность темы — это

всегда вопрос дискуссионный. Поддержка со стороны огромных аудиторий, всегда воспринимаемая не как «партийная», а как всеобщая, микширует когнитивный диссонанс. Удобней успокаивать себя тем, что «солдаты информационной войны» должны защищать высокие интересы отечества, ради которых можно жертвовать фактами, или что секреты эстрадных звезд так же важны для общества, как коррупционные тайны политиков, чем признаваться себе в том, что за это просто хорошо платят. Подмена, а затем и вытеснение проблемы происходят на глубинном, близком к подсознательному уровне, на котором извне уже трудно предъявлять упреки в неискренности.

Противоречия между нами имеют экономический и даже «классовый» характер (и тут никуда не уйти от Маркса) и могут быть разрешены лишь с помощью механизма более высокого уровня (законодательного, например). Сотрудники желтых газет и телевидения — это, несомненно, скорее работники чисто коммерческой сферы развлечений, и с ними, в принципе, возможно найти общий язык на прагматической основе. Пропагандисты, по сути, скорее чиновники государственных пресс-служб (во всяком случае, при взгляде с экономической стороны), но они никогда не признают себя таковыми — отказ от звания журналиста для них слишком болезнен, и в этом проблема. Журналисты же — это «лица свободных профессий», работающие, даже в составе своих редакций, «без страховки».

В этих условиях спор (пожалуй, сражение) идет за само определение журналистской профессии, ведь никто не хочет отказываться от сильно скомпрометированного, но пока все же более престижного, чем «пропагандист» или «папарацци», звания «журналист». И все наши рассуждения о борьбе за правду, непредвзятости и принципе невмешательства тут будут просто высмеяны. Поэтому бороться надо не столько против пропаганды или желтой прессы, сколько за журналистские стандарты — этим и занимается Общественная коллегия по жалобам на прессу, и это то единственное, по поводу чего пропагандисты и папарацци могут, пусть и нехотя, согласиться — хотя бы ради того, чтобы

не оказаться вычеркнутыми из международного журналистского сообщества.

По данным опроса журналистов, опубликованным ЦИРКОНОм в феврале 2017 года, 79% ответивших считают соблюдение этических норм и стандартов главным признаком своей профессии, а членство в профессиональных организациях — лишь 3%. В то же время 81% респондентов не считают работу журналистов свободной, а среди ее ограничителей 86% указывают на «вышестоящую структуру владельца СМИ».

Все попытки создать новый «журналистский профсоюз», которые время от времени вызываются сильными поводами вроде убийства очередного коллеги, пока закачивались ничем. Сказываются и низкий уровень доверия в обществе, и тщеславие, но и власть со своей стороны (я это точно знаю по истории с Союзом журналистов) внимательно следит за любыми попытками объединения, идущим снизу и не через ее собственные структуры, и пресекает их так же, как делает это во всех других сферах общественной активности.

Для «публики» разграничение между «СМИ», чья деятельность относится на самом деле к совершенно разным сферам, пока остается туманным. Но этот процесс идет и внушает некоторую надежду; по крайней мере, россияне начинают понимать, что не только нельзя верить всему, что напечатано или звучит с экрана (как это было в СССР), но и что есть и такие медиа, которым можно верить больше, чем другим.

Что касается будущего Общественной коллегии по жалобам на прессу, то я хотел бы ошибаться, но после того, что произошло с Союзом журналистов России, с которым она ассоциируется (пользуется по крайней мере его помещениями для своих заседаний), ее, возможно, ждет судьба Союза и других общественных институтов, которые проявили себя слишком эффективно (как, например, ОНК — общественные наблюдательные комиссии). Открытый механизм формирования коллегии делает ее уязвимой с точки зрения захвата и «перерождения изнутри», хотя мы за нее, конечно, поборемся, насколько хватит сил.

Общество, в конце концов, трудно, но взрослеет, преодолевая все полагающиеся кризисы подросткового возраста.

Его уже не так, как в начале девяностых, интересует голая задница, не так уж сильно хочется и подраться: воинственная пропаганда принимается как «своя», но она мало кого подвигла на активные действия. А там, глядишь, не все, но хотя бы некоторые захотят подумать, и тогда журналистика еще пригодится и возродится. В этой позиции действенного ожидания и заключается сегодня историческая ответственность российской журналистики.

ТЕТРАДЬ V *(НЕОКОНЧЕННАЯ)*. ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА

ГЛАВА 21. ЖУРНАЛИСТ КАК ИСТОРИК

Когда я был уже близок к завершению этой книжки, Алексей Поликовский, с которым я поделился ее замыслом в «Новой газете», подсказал, что существует книга «Апология истории», написанная Марком Блоком. Я легко нашел в интернете и эту книгу, которая не была дописана, и сведения об ее авторе, достойном отдельного рассказа.

Марк Блок (Bloch), один из двух основателей журнала «Анналы» и одноименной исторической школы, потомственный историк (сын профессора), родился в Лионе в 1886 году. Первую мировую войну он закончил капитаном, был тяжело ранен и награжден крестом «За боевые заслуги». Затем преподавал историю в университете Страсбурга, а в 1938 году возглавил кафедру в Сорбонне. В 1939–1940 годах воевал на севере Франции, был эвакуирован в Англию, но вернулся преподавать на неоккупированных территориях Франции. Поскольку по происхождению он был еврей, ему советовали уехать, и многие университеты США почли бы за честь принять Блока у себя. Вместо этого в 1943 году он вступил в движение Сопротивления, в марте 1944 года был арестован гестапо, выдержал пытки, не выдав товарищей, и был расстрелян 16 июня того же года.

Книгу «Апология истории» Блок не успел закончить по этой самой причине. Наука истории тогда беспокоила его, и он видел необходимость защищать ее от фальсификации со стороны как нацистов, так и соотечественников — коллаборационистов. В Сопротивлении он участвовал, конечно, не как

профессор-историк, а как участник той самой Истории, чей ход до какой-то степени зависел и от его действий тоже.

Поликовский начал рассказывать мне о Блоке еще до того, как я успел сказать, что одна из главных идей моей книги как раз и состоит в том, что журналист — это историк. К этому выводу я пришел где-то в нулевые сначала от противоположного, от сознания бессилия журналистики что-либо изменить в текущей действительности. На самом деле вывод глубже и влечет за собой такое последствие, как принцип *невмешательства*: журналист как таковой и не должен стремиться что-то изменить в истории и даже не имеет на это права, его дело лишь внимательно и честно фиксировать факты, которые вот прямо сейчас, у него на глазах становятся *историческими*. Парадокс в том, что как Блок оставался историком, но в тот же самый момент участвовал в истории, так же и журналист своим высказыванием иногда меняет, хочет он того или нет, сам ход истории, которая в некотором смысле вся движима *высказываниями*.

Другой француз — Раймон Бадью — также был участником Сопротивления, остался в живых и до 1958 года был мэром города Тулузы. А его сын Алэн Бадью, родившийся в 1937-м, стал очень известным левым (для французов это весьма характерно) философом, участником студенческой революции 1968 года, коммунистических и маоистских групп. Осмысливая XX столетие в книге «Век», он указывает на такую его отличительную черту, как «страсть к *настоящему*». Оставив утопизм XIX века, считает Бадью, двадцатый взялся за «создание нового человека», из чего, по неумолимой логике истории, вытекала необходимость и допустимость уничтожения человека прежнего.

«Реальное», пронизательно замечает Бадью, всегда вызывает известные сомнения и подозрения в силу того, что оно всегда эмпирично, то есть случайно. Эти сомнения еще более усиливаются по мере того, как конкретный исторический персонаж поднимается по социальной лестнице и становится, например, генералом, а то и президентом страны, то есть *«вершителем истории»*. Что бы ни говорили ему окружающие о том, что он самый умный и заслуживает

своей позиции больше, чем кто бы то ни было, он-то сам в глубине души прекрасно понимает, что оказался на ней лишь волею случая (мы же все и родились, в общем, волею случая). Чтобы утвердить свою неслучайность, этот персонаж пускается во все тяжкие и начинает корезить историю всеми новейшими средствами для этого и со всей «страстью к настоящему». XX век, считает Бадью, расплатился за это миллионами человеческих жизней, принесенных в жертву отнюдь не утопиям, которые оказались всего лишь предложениями, а власти и ее «настоящему» — в этом смысле постмодерн с его «смертью великих нарративов» гораздо более спокойное время (если это так).

Политика и журналистика — очень плохо совместимые вещи. Журналистика показывает политику, пишет про политику, отражает политику, но сама она никогда не политика: для нее не существует ни своего, ни чужого интереса. Правда всегда всем страшно неудобна, иногда кому-то выгодна, но журналист не может обращать на это внимания, иначе он уже кто-то другой. Своим высказыванием он запускает или перенаправляет общественный дискурс, который может и даже *стремится стать политическим*, приняв такую форму, например, в парламенте. Тогда придет время о чем-то договориваться, в чем-то уступая друг другу, ведь иначе согласие невозможно. Журналисты тоже могут принять участие в этом процессе, но уже в другой роли и по другим правилам говорения. А с журналистом как таковым ни о чем договориться нельзя, ведь он уже высказался и, строго говоря, стал журналистом в этот самый момент, а слово не воробей, и дискурс, если он закрутился, закрутился уже без него. Журналистика бескомпромиссна, она не гибкая, а жесткая вещь.

В этом смысле политика — полная противоположность журналистике, тоже одержимой «страстью к настоящему», но совершенно иначе: в положении «прогрессора» Стругацких, не имеющего права вмешиваться в ход истории. История — это время и место жительства, нашего жительства, а журналист, как *первоисторик*, оказывается внутри ее крутящего момента. Но проблема в том (см. также главу 4 о «власти» и легитимности журналиста), что принцип

невмешательства, легитимирующий право журналиста на высказывание, не означает, что такого вмешательства на самом деле не происходит.

В июне 1971 года газета «Нью-Йорк таймс» начала публиковать выдержки из секретного доклада Пентагона, анализирующего затруднения, испытываемые США во Вьетнаме. Администрация президента Никсона сформировала секретную группу для ликвидации этих утечек. Однако первое же свое задание «водопроводчики» (кодовое название группы) провалили. В два часа ночи 17 июня 1972 года в штаб-квартире Демократической партии в гостиничном комплексе «Уотергейт» были задержаны пятеро мужчин, которые тайно фотографировали документы. При проверке все они оказались связаны с ЦРУ.

Лидер республиканцев Ричард Никсон, который вел в это время президентскую кампанию за второй срок, заявил, что его администрация не имеет к этому отношения, хотя один из взломщиков оказался сотрудником Комитета по переизбранию президента. Но в марте 1973-го все взломщики, представ перед судом, были вынуждены признать, что связаны с этим Комитетом (по американскому законодательству и практике ложные показания перед судом влекут строжайшее наказание).

Поскольку «Нью-Йорк таймс» продолжала наблюдать за развитием событий и к этому подключились все другие газеты и телевидение, Сенат США также начал расследование «Уотергейтского дела», а по телевидению за ним следила вся страна. Вскоре об инциденте стало известно многое, включая попытки Белого дома уничтожить улики в своем архиве. Никсон уволил ряд ответственных сотрудников своей администрации, за ними в отставку ушел и Генеральный прокурор США.

В ноябре 1973 года Никсон все же выиграл выборы, но газета «Вашингтон пост» параллельно опубликовала подробно восстановленную картину инцидента в гостинице «Уотергейт», уделив особое внимание аудиозаписям, которые всегда ведутся в Овальном кабинете Белого дома и должны

были храниться в архиве (журналисты Карл Бернштейн и Боб Вудвод получили за это расследование Пулитцеровскую премию). В июле 1974 года Верховный суд США подтвердил право судов на прослушивание записей из Овального кабинета как имеющих важное общественное значение. Телевидение вело трансляции со всех судебных заседаний, и всем в прямом эфире стало известно, что Никсон отдавал-таки одному из своих сотрудников распоряжение об уничтожении доказательств, связанных с Уотергейтским скандалом.

Палата представителей Сената США после публичных слушаний проголосовала за возбуждение процедуры импичмента против Ричарда Никсона, давшего заведомо ложные показания суду. 3 августа 1974 года он сделал заявление по национальному телевидению о добровольной отставке.

Окончание «гейт» (как часть названия гостиницы «Уотергейт») стало нарицательным и может прибавляться к любым событиям, указывая на их скандальный характер и связь с медиа. Так, в 2015–2016 годах в России и вокруг нее в мире разразился «Допинггейт». (Мы говорили о том, что спортивная журналистика сама по себе чаще всего далека от ее «ядра», но здесь дело касается уже не спорта, а власти и ее использования ради достижения, пусть и виртуального, «спортивного престижа страны».)

Начало скандалу положил показанный на немецком канале ARD 3 декабря 2014 года фильм-расследование кинодокументалиста Хайо Зеппельта о применении допинга в российской легкой атлетике. В фильме были использованы записи, сделанные с помощью камеры мобильного телефона: Мария Савинова, олимпийская чемпионка в беге на 800 метров, рассказала о своем опыте приема запрещенных препаратов по указанию тренера, вторая запись фиксировала раздачу тренером допинга другим спортсменам. Интервью для фильма дали также бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов и его жена — легкоатлетка Юлия Степанова.

Российские официальные круги отреагировали упреками в политизации спорта и ссылками на то, что собранных доказательств недостаточно, а фильм предвзят. Однако

журналистское расследование Зеппельта продолжалось (все-го к лету 2016 года было снято и показано четыре фильма) и дало толчок расследованию Всемирного антидопингового агентства — WADA. По результатам доклада WADA российские легкоатлеты в полном составе сборной были дисквалифицированы для участия в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

По ходу развития скандала в отставку ушли главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков и президент Всероссийской ассоциации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. По подозрению в коррупции во Франции были задержаны и допрошены экс-президент Международной федерации легкой атлетики (ИИАФ), юрист и директор ее антидопингового агентства.

10 ноября 2015 года министр спорта РФ Виталий Мутко подписал отставку главы антидопинговой лаборатории в Москве профессора Григория Родченкова, который не совсем понятным образом оказался с семьей в США, где ему предоставили квартиру, работу и лабораторию. В мае 2016 года в «Нью-Йорк таймс» вышла серия интервью с Родченковым, где он подробно рассказал о применении допинга во время Олимпиады-2014 в Сочи, о разработанной схеме подмены бутылочек с пробами мочи спортсменов и об участии в этом российских спецслужб.

В июле 2016 года WADA опубликовало большой доклад о применении допинга в российской олимпийской сборной в Сочи, где к показаниям Родченкова добавились теперь еще и объективные доказательства вскрытия и подмены проб мочи. Все это сопровождалось подробными сообщениями в медиа, что играло в развитии истории теперь уже роль смазки. Был поставлен вопрос о лишении права на участие в Олимпиаде уже всей олимпийской сборной РФ. Этого, к счастью, не произошло, но далее скандал, который продолжал развиваться, добрался уже до спортсменов-инвалидов: их лишили права участвовать в Паралимпиаде.

Оглядываясь на Уотергейтский скандал с расстояния в сорок с лишним лет, мы понимаем, что если он и оказал какое-то воздействие на историю США и эволюцию их

политической системы, то в лучшую сторону: политики стали больше опасаться нечестных приемов (хотя теперь мы видим, что этого лишь на сорок лет и хватило). Последствий «Допинггейта» мы, находясь внутри истории, пока полностью не понимаем — в ближайшей перспективе они выглядят весьма неприятными, но, кто знает, может быть, спустя сорок лет уже не мы, а наши дети тоже придут к выводу, что Россия в результате стала лучше и честнее.

Эксперты, знающие мир спорта, склоняются к мнению, что в этой истории, если рассматривать ее не с журналистской точки зрения, а как интригу в борьбе за власть и влияние в этом мире, мишенью была вовсе не Россия и ее легкая атлетика (и тем более не паралимпийцы), а Международная ассоциация легкой атлетики в ее противостоянии с WADA. При этом документалист Хайо Зеппельт, профессионально знакомый с миром спорта, скорее всего понимал эту интригу, но мог использоваться в ней частично и втемную, а мог осознать свою роль в ней лишь по ходу развития своего расследования.

Видел ли Зеппельт перед собой лица российских инвалидов-паралимпийцев, когда начинал работать над темой применения допинга в легкой атлетике? Что руководило им в первую очередь: стремление ли рассказать о важных исторических фактах неопределенному кругу лиц, сознательное (пусть и с косвенным умыслом) желание подыграть чьей-то стороне, или журналистский азарт, или тщеславие? Мы этого не знаем и не узнаем, едва ли эту сложную дробь может полностью отрефлексировать и он сам. (С внешней стороны можно говорить о соблюдении или несоблюдении журналистских стандартов — см. главу 20.) Факт в том, что в обоих приведенных примерах журналисты изменили ход истории, хотя это стало лишь побочным следствием их обычной работы.

Обвинение журналистов в погоне за сенсациями и жареными фактами беспочвенно во всех случаях, когда эти факты имеют общественное и историческое значение. Это и есть наша работа, а сенсация — это всего лишь попадание в тему, журналистская удача, которая, впрочем, редко выпадает человеку случайному.

А вот предавать ли гласности то, что тебе удалось узнать и подтвердить, или нет — это часто трудный вопрос. Он обычно встает уже не перед азартным журналистом, а перед редакторами того медиа, которому он предлагает итог своего труда (если не выступает только от собственного имени в социальных сетях). А за медиа стоят коллектив, бренд, имущественный комплекс, владелец, рекламодатели, спонсоры и просто друзья и друзья друзей, читатели и зрители, в конце концов.

Вот что рассказал журналу «Журналист» (в интервью Всеволоду Пуле) Роман Анин, отвечавший в России и в «Новой газете» за работу с документами «Панамского архива», вскоре после их появления в российском медиапространстве в апреле 2016 года:

«Где-то год назад ко мне обратилась коллега из Испании и предложила участвовать в глобальном исследовании по офшорам. Состоялась первая встреча, на которую приехало человек восемьдесят. Там мы и узнали, что сведения находятся у немецкой газеты “Süddeutsche Zeitung”. Когда мы спрашивали их о том, кто является их источником, они говорили, что не знают его. Может, они правда его не знают, а может быть — защищают. Сразу стало ясно, что речь идет о многих влиятельных людях по всему миру...

Сначала я был скептически настроен. Нашелся очередной друг президента — миллиардер, и чего? В чем суть этой истории?.. Я все время говорил: “Мы таких историй опубликовали в России тьму-тьмушую. В чем прикол именно этой?”

Но со временем я поменял свое мнение, когда глубоко погрузился в эту историю. Я стал читать, кто такой Ролдугин, прочел книгу (авторизованную биографию Путина, изданную в 2000 году) “От первого лица”. И наконец, я стал смотреть на сделки, которые совершали офшоры Ролдугина.

Стало очевидно несколько вещей. Первое: Ролдугин никогда не занимался бизнесом. Другие друзья президента еще хоть как-то могут объяснить свое состояние. Этот никогда не был бизнесменом. Второе: его близость к президенту. Он крестный отец его дочери (Марии), они знакомы с юности и проводили очень много времени вместе. Опрошенные источники подтвердили, что это один из ближайших к нему

людей. И третье, самое важное: мы увидели *modus operandi* этих офшоров. Ну не будут крупнейшие бизнесмены России просто так жертвовать свои деньги виолончелисту. Они будут жертвовать виолончелисту, за которым кто-то стоит»...

Из этого отрывка становится понятно, что, берясь работать с «Панамским архивом», Анин не знал, что именно он там найдет. (Он мне это подтвердил и в личном разговоре, когда случайно отказалось, что одна из публикаций архива ударила по моему давнему приятелю — после этого я немедленно подарил Анину курительную трубку, которую мне этот приятель когда-то привез.) Главный редактор «Новой газеты», которого Анин поставил в известность об участии в проекте международного консорциума журналистов — расследователей ICJ, тоже не знал, к чему они придут в результате. Они купили кота в мешке, но если бы они отказались участвовать в таком проекте, то перестали бы быть журналистами. А когда стало понятно, каков оказался кот в мешке, отступить было тоже не по-журналистски, оставалось опубликовать и ждать, что за это «прилетит». Очевидно, что в том же положении оказались и другие российские медиа, разместившие материалы других авторов по мотивам «Панамского архива».

После их появления российские участники проекта дали многочисленные интервью. Вот как они ответили на вопросы сайта «Медуза». «Я старался не думать о последствиях весь год, пока длилось расследование, не думаю и теперь» (Дмитрий Великовский). «Мы старались как можно меньше думать о том, что произойдет после публикации... Это не наша работа» (Олеся Шмагун). «Сейчас раздаются голоса, что публикация к чему-то приурочена. Кто-то говорит, что к выборам. Но к выборам все приурочено только у политиков. К счастью, это не так» (Роман Шлейнов).

Наконец, о своих мотивах сайту «Открытая Россия» рассказал редактор и сооснователь Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (ОСОРП) Дрю Салливан: «Я просто рассказываю правду, а каждый читатель сам решает, реагировать на нее или нет... Если кто-то думает, что мы какая-то шайка заговорщиков, то нет.

Мы — профессиональные журналисты, чья единственная задача состоит в том, чтобы рассказывать правду. Это довольно сложная работа. А если мы взвалим на свои плечи еще и общество с правительством, то превратимся в политиков, и тогда нам станет сложно говорить правду... Я не могу контролировать то, что может случиться. Я могу лишь контролировать себя, чтобы выполнять свою работу честно и в соответствии с профессиональными стандартами».

Пожалуй, ответы Салливана отличаются от ответов российских участников двумя моментами: он единственный, кто в своем ответе вспомнил о журналистских стандартах, и он не стесняется и не считает слишком пафосным произносить слово «правда» — это объясняется тем, что его мотивы понимаются и признаются легитимными в странах Запада в гораздо большей степени, чем в сегодняшней России.

Мне представляется, что Анин по молодости даже недооценил слова Ролдугина о том, что «это началось давно, еще до перестройки». Один из моих источников (с которым мы, правда, уже давно не работаем, но дружим) подтвердил это, возложив на журналистов ответственность за провал «такой прекрасной крыши»: вполне возможно, что старый друг Ролдугина изначально использовал его как прикрытие для операций внешней разведки. А с моим другом мы поругались. Как и Дрю Салливан, и Анин, и другие участники проекта, я полагаю, что ответственность за последствия публикаций на журналиста возложена быть не может — ответственность в этом смысле лежит всегда на политиках.

Как сказал Дрю Салливан, «нам станет сложно говорить правду», если мы будем думать о последствиях и тем самым превратимся пусть даже в честных, но политиков. Для журналиста как такового другой ответ и невозможен: он перестанет быть журналистом в тот самый момент, когда примет решение не сообщать (неопределенному кругу лиц) об известных ему фактах действительности, чем бы ни мотивировался этот отказ. Иногда, когда на кону человеческие жизни, это стоит того, чтобы взвалить на себя этот грех перед профессией, но чаще всего — нет. Это тоже предмет *суждения*, которое никогда не может быть вынесено заранее и которое есть *бремя*.

Последствия журналистского высказывания всегда становятся результатом действий не его самого, а в конечном счете — тех лиц, которые допустили ставшие известными журналисту общественно значимые проступки. Если же говорить с философской точки зрения, то правило, которое в нравственной философии принимается с тех пор всеми как аксиома, впервые четко сформулировал Иммануил Кант: нравственность поступка всегда определяется его мотивом, а не последствиями и не ожиданиями этих последствий.

Вспомнилось почему-то: когда лет тридцать назад я пробивался в журналистику, наскучив преподаванием «советского права» во ВГИКе, эта профессия была более осязаемой даже в физическом смысле. Когда в типографии, которая находилась в подвале, и туда надо было спускаться отдельным лифтом, метранпаж откатывал тебе на талере полосу, чтобы ты быстро-быстро («мы посадим номер!») «сократил хвост», эта влажная полоса, подсыхая, шуршала у тебя в руке, и это шуршание было ни с чем не сравнимо, оно до сих пор у меня в ушах. Особым шиком было «сократить хвост без перелива» — так, чтобы конец одной обрезанной строчки точно, без беготни к наборщицам, на которую уже не было времени, совпал с началом следующей, которую верстальщик в синем халате, перепачканном черной краской, уже рубил (специальным шилом, буквально) с другой стороны. Потом эти сокращенные и вынутые из набора свинцовые строки можно было подбрасывать на ладони: такие тяжеленькие, они передавали с этим ощущением вес написанного тобой слова и чувство твоей ответственности.

К сожалению, молодые журналисты ничего подобного уже не видят, хотя у них, конечно, есть зато много чего другого. Но вот это чувство *ответственности*... — черт его знает, наверное, вместе с древним свинцовым набором оно куда-то ушло. В дальнем углу в ящике моего стола я недавно наткнулся на несколько таких свинцовых строчек, теперь уже черт знает из какой заметки, прихваченных в карман, наверное, на память. Если мне надо будет принять какое-то важное и трудное решение, сказать что-то или промолчать, у меня теперь

есть для этого хороший инструмент: можно подбрасывать эти тяжеленькие строчки на ладони, чувствуя, как они становятся теплыми, подбрасывать и оценивать вес слова до тех пор, пока я не буду точно знать, что делать.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Знаменитой формулой Маршалла Маклюэна *the Medium is the Message* считается шиком блеснуть в продвинутой аудитории, хотя мало кто может объяснить, что она все-таки означает. Мне трудно согласиться с обычной ее трактовкой: медиа — это то, что оно сообщает. Медиа всегда или становится гораздо больше своего высказывания, вовлекая в дискурс «множества» и порождая далеко разветвляющуюся рефлексию, или оказывается намного меньше того, что сообщает, если это «СМИ», как часто случается, забывает эфир и полосы «контентом» и транслирует только шум.

Однако Маклюэн постоянно подчеркивает и другую мысль: медиа как «расширение возможностей человека» всегда есть *месседж* ему о наступлении какой-то новой эры, в которой уже ничего не будет по-старому. Железная дорога (медиа, по Маклюэну) меняет представление о пространстве и времени (если не сами пространство и время), не говоря уже о самолете, радио или мобильном телефоне. Такое «расширение», как интернет, если кто-то этого еще не понял, снова меняет все. Матрица российских «СМИ», в основании которой лежит отношение к медиа как к «средству», в современном обществе уже не может воспроизводить себя — точнее, она способна воспроизвести только симулякр.

На Рождество 2017 года мы с женой попали на выставку «Сокровища Ватикана», проходившую в Третьяковке, и я надолго застыл перед картиной Лодовико Карраччи (сейчас уточню по каталогу...) «Троица (новозаветная) с мертвым Христом» (около 1591 года). Бог-Отец изображен здесь по-простому, в виде старика с бородой, на чьих коленях лежит труп Сына, но совсем не просто выражение Его лица и движение руки. Рукой Он делает жест чуть вниз, в направлении Своего же чуть растерянного взгляда, как будто людям на землю: все, мол, правильно, так и было надо! Но неуверенно, и вот-вот отдернет Он руку, и лицо Его переживает вместе с мукой потери Сына сомнение: а надо ли

было вот это все и хватит ли этого, чтобы те, внизу, что-то поняли?

Конечно, я был занят в это время своими мыслями о книге, но подумалось мне вот что: Бог принял решение фундировать Свое право на высказывание. Ведь древние евреи стали предъявлять ему те же, по сути, претензии, что спустя две тысячи лет немцы — Ханне Арендт: как ты можешь судить, если сам не пережил это? И Он пережил — по полной программе. И с тех пор, во всяком случае у христианина, такого аргумента против Бога уже нет.

Ровно на 22 года раньше, на Рождество 1995-го, мы с Муратовым, тогда уже главным редактором, но еще никому не известной «Новой газеты», оказались в подвале «дворца Дудаева» в Грозном. То есть сначала мы долетели до аэропорта Минводы, оттуда за сто долларов доехали до Назрани, а там наутро стали разузнавать насчет машины, и, в общем, нам было все равно, на какую из сторон фронта, проходившего прямо через Грозный, она нас привезет. Нас отвезли чеченцы, бесплатно — наверное, они лучше понимали, для чего им была нужна журналистика. Наша одинокая «шестерка», объезжая воронки, промчалась по пустому городу сквозь стрельбу, затормозила у единственного угла «дворца Дудаева», куда эта стрельба по какой-то причине почти не доставала, и мы на сутки ухнули вниз.

Никто нам не запрещал никуда ходить, но мы и сами, в общем, не очень-то ходили, сидели в просторном подвальном помещении с российскими пленными солдатами и раненым капитаном Мычко — его Муратов потом как-то оттуда вытащил с помощью майора Измайлова (о нем чуть ниже). С потолка сыпалась штукатурка: танки били прямой наводкой по «дворцу». Чеченцы пробегали мимо по коридору со снопами гранатометов у каждого на плече, иногда к нам заходил Аслан Масхадов со словами: «Ничего! Наши еще один ваш танк подбили, ребята, вы покушали?» Ничего такого он не имел в виду, просто проявлял заботу — по-моему, он был хороший, порядочный человек и офицер. Спустя десять лет, 8 марта 2005 года, при штурме спецназом ФСБ дома, где скрывался Масхадов, его

по его же просьбе пристрелит из пистолета племянник — чтобы не оказаться в плену.

А в Сочельник 95-го в подвале «дворца Дудаева» он предлагал нам хлеб и, кажется, даже что-то горячее, но «кушать» не хотелось. В какой-то момент штукатурка посыпалась гуще, и стало совсем страшно. Засыплет ведь, будешь потом выгребаться в темноте без воздуха и не выгребешься. Я стиснул зубы, потому что иначе бы закричал: «Мама!..» — но в этот самый момент Муратов достал заначенную бутылку водки, и мы ее ополовинили вместе с капитаном Мычко. Стало вроде ничего, да и гром наверху вдруг стих. Я полез посмотреть из люка в том единственном углу, куда не очень залетало. На первом этаже пустоту между стенами, непонятно на чем державшимися, прошивали вдоль и поперек трассирующие пули. «Наши» пошли на штурм — слышав, что подвалы в таких случаях забрасывают гранатами, я прыгнул вниз и закричал Муратову, чтобы разливал остатки водки — обидно ведь, если пропадет (а слово «будет» там уже не умещалось).

Разлили, допили, и опять стало вроде ничего («Ребята, вы покушали?»). Я сказал, что уже много чего понял про войну, и надо бы потихоньку выбираться. Но Муратов сказал: «Ждем машину». Между тем нам объяснили, что уходить надо между четырьмя и пятью, в сумерках, когда минометы еще не начинали, а снайперу прицеливаться уже трудно. Я снова сказал: «Пошли», а Муратов опять: «Ждем машину!» Какую, на фиг, машину, где? Я подумал тогда, что он испугался — ну, это было нормально.

Наконец мы все-таки пошли пешком (с нами были еще Миша Маркелов, ведущий телепрограммы «Совершенно секретно», впоследствии депутат Государственной думы, брат убитого в январе 2009-го вместе с журналисткой «Новой газеты» Настей Бабуровой адвоката Станислава Маркелова, и оператор Саша, фамилии которого я, увы, не помню). Тогда я понял, что Муратов не испугался, а просто не мог в то время быстро идти (сейчас лучше). Пространство вокруг было усеяно железом и контужеными голубями, а трупов я не помню — значит, их быстро забирали в тех местах, где мы шли. По дороге мы встретили Шамиля Басаева, который

тогда еще не захватывал больницу в Буденновске и не был таким злодеем, и он нам объяснил, как надо выбираться: вот там по стеночке, а дальше будет мостик (через Сунжу, его еще все время показывали по телевизору), там надо как в школе — помните? — на стометровке...

Побежал только Саша с камерой, потому что сначала ему надо было снять весь этот проход по мостику сзади, а потом, забежав и шагая задом наперед, спереди. Может быть, эти кадры где-то даже сохранились, но у меня все и так перед глазами.

На площади Минутка не стреляли, кто-то нас куда-то отвез, мы переночевали в каком-то селе и, завезя по дороге на автобусе труп убитого ингуша, добрались наконец обратно до аэропорта Минводы. Тогда, в 1995-м, еще не было никаких мобильных телефонов, зато был этот самый дедлайн, а факты, которые мы везли у себя в головах, пахли потом и кровью — но в кассе не было билетов.

Мимо нас на посадку шли, смеясь, люди в цветных куртках и с горными лыжами в чехлах через плечо. Я вспоминаю этих лыжников всякий раз, когда слышу что-нибудь про журналистику как бизнес и про Entertainment. Мы еще какое-то время атаквали кассу, размахивая удостоверениями, а потом вдруг посмотрели друг на друга и сказали в один голос: «Какие билеты? Мы живы, ты что, не понял?» Я стараюсь иногда раскапывать в себе из-под завалов это мгновенное, но вечное чувство: «Мы живы, ты что, не понял?»

Я долго колебался, рассказывать ли в книжке эту байку и не отдает ли она некоторым бахвальством. Но она же и про Муратова, а он-то, несомненно, великий человек — надо быть таким, чтобы создать и удерживать хотя бы последние пятнадцать лет такой остров смысла. Как позже случайно выяснилось, Юра Шевчук тоже в это же самое время был там, только с другой стороны, с атакующими российскими солдатами. Мы втроем потом как-то раз обсуждали этот зигзаг, ведь и он поехал туда за тем же, за чем и мы: утвердить свое право на высказывание. Я написал о сутках, проведенных во «дворце», одну заметку в «Московские новости», где тогда работал, сделал передачу для радио «Свобода» и больше никогда

к чеченской теме не возвращался, считая себя в ней малокомпетентным. Муратов, кажется, и вовсе отмолчался. Не в этом дело. Под знаком этой войны придется еще долго писать на любую тему, а как писать, «если ты сам не пережил это»?

Свою роль я не преувеличиваю, да ее и не было никакой. А майор Вячеслав Измайлов, прошедший Афганистан, затем работавший военкомом под Москвой, но перешедший в «Новую газету» военным обозревателем — потому что он не мог призывать мальчишек на эту войну, — когда ездил по Чечне менять пленных (он их вытащил оттуда 170 человек), специально садился на броне снаружи, а каску не надевал: так всем издали было видно его блестящую лысиной голову «яйцом», и никто не стрелял. Вот и разбери, журналист он тут или кто-то другой. Во всяком случае, он там осуществлял коммуникацию, и ни у кого никогда не может возникнуть вопрос: а кто это такой?

Над столом в зале редколлегии «Новой газеты» висят портреты пятерых ее убитых журналистов. Игоря Домникова я здесь уже не застал, Настю Бабурову даже не успел как следует запомнить — она только что пришла в газету, Наталью Эстемирову знал шапочно, а Юра Щекочихин напечатал мою первую заметку в «Комсомолке» где-то году в 1978-м, я тогда еще и не думал всерьез о журналистике. С мужем Ани Политковской мы учились в школе, а потом ездили в командировки, с ней самой я дружил — не то чтобы близко, но мы часто обедали вместе в редакционном буфете. Чтобы как-то отвлечь ее от темы о войне, я ее спрашивал про ее собаку. Собака, которую Аня иногда брала с собой в газету, была длинная, как скамейка, и почему-то боялась незнакомых мужчин, пряталась под стол — не была такой же безбашенной, как ее хозяйка...

Молодежный театр «Эскизы в пространстве» поставил на сцене Дома журналистов в Москве спектакль «Журналист. Жизнь в секунду» по мотивам того, что было написано Юрием Щекочихиным и Анной Политковской. Об этом спектакле в июне 2016 года в «Новой газете» подробно написала Зоя Ерошок, а меня, когда я его смотрел, больше всего поразило

сказанное перед спектаклем его режиссером Ириной Михайшиной: «Я ничего не знала ни о Щекочихине, ни о Политковской, пока Игорь Степанов (директор Домжура) не дал мне их книги...». После чтения со сцены текстов Ани и Юры, электризующих зал, мальчишки и девчонки, приглашенные через социальные сети, начали вставать и говорить то же самое: «Мы про них ничего не знали. Нам и про чеченскую войну ничего в школе не рассказывали. Но теперь мы знаем, какие это были люди!»

Театр «.doc», в жанре которого поставлен спектакль, это тоже журналистика — в той мере, в какой это doc. Размер аудитории здесь неважен, важно высказывание, сигнал, важно, что он услышан и не пропадет под толщей забвения, которым, как одеялом, кто-то хочет погасить живой огонь истории и журнализма.

История не заканчивается, поэтому и эту «тетрадь» в книжке я не считаю законченной — может быть, я к ней когда-нибудь еще вернусь. Пока же — вот отчет о командировке для этих ребят и для тех, кто вышел на улицы протестовать против лжи 26 марта 2017 года. В завтрашний номер!

ЖУРНАЛИЗМ И ЖУРНАЛИСТИКА ЛЕОНИДА НИКИТИНСКОГО

Неоднократно удивлялась эффекту от сравнения впечатлений, произведенных авторским образом и стоящим за ним конкретным лицом. Иногда возникает чувство, будто это два разных человека. С Леонидом Никитинским у меня периодически так и происходит.

Впервые я увидела его на одном из семинаров Общественной коллегии по жалобам на прессу. Он входит в ее состав, а я выступаю в качестве постоянного эксперта по информационным спорам. Наши места за большим совещательным столом оказались рядом. Мероприятие началось, я краем глаза стала разглядывать возвышавшегося сбоку соседа. Около его стула небрежно возлежал большой, выдавший виды портфель из качественной кожи. Прикид его хозяина в стиле casual был под стать данному аксессуару: просторный твидовый пиджак и джинсы. На носу широкоформатные очки с подтеменными линзами в тонкой дорогой оправе. Образ денди из творческой богемы завершали перстень с синим камнем и волосы пепельного цвета, собранные ниже затылка в маленький хвостик. Сочетание небрежной случайности и тщательно выстроенного стиля создавало двойственное впечатление. «Большой ребенок со своими игрушками», — решила я тогда.

Потом выяснилось, что это и был тот самый Никитинский — обозреватель «Новой газеты», журналист, известный своими публикациями о судебной системе и ее персонажах, золотое перо России 2005 года, автор книг, киносценариев и пьес. Его тексты, в каком бы жанре они ни были исполнены, привлекают тем, что за ними ощущается глубокий взгляд наблюдателя, сумевшего при цепкости аналитической мысли сохранить творческую, почти детскую непосредственность мироощущения.

Единство этих качеств и делает из журналиста автора. В моем понимании, он, подобно белому листу, дураку из кар-

точной колоды Таро, должен быть безмятежно открыт окружающему миру, но при этом иметь наготове некую «платформу», на которой в сжатые сроки стихия жизни будет структурирована в текст, понятный массовому потребителю. По ходу общения с Никитинским становится очевидным, что печатка, хвостик на шевелюре и прочее подобное — это просто легкая дань постоянному искушению авторского самолюбия «вылезти из зала на сцену». «Но журналисту, — по убеждению Никитинского, — этого делать нельзя, это противоречит его роли наблюдателя, пусть и сочувствующего одной из сторон».

В октябре минувшего года он мне сообщил, что пишет книжку «Апология журналистики», и попросил помочь свести воедино теоретические понятия, которые он там использует. Я легкомысленно согласилась, забыв ему сообщить, что мой более чем десятилетний опыт членства в диссертационном совете по философским наукам убедил меня в том, что даже среди выдвигаемых на защиту работ редко встретишь ту, что не страдает эклектикой подходов. Одна из причин, на мой взгляд, в том, что многие термины гуманитарных наук утратили сегодня статус понятий с закрепленным содержательным наполнением. Это скорее концепты, смысл которых определяется контекстными практиками и авторской позицией. Так или иначе, в январе 2017-го книжка была у меня. И если контекстные практики любой мало-мальски думающий читатель определит, вспоминая обстоятельства времени и места актуальных событий, описанных в книжке, то над позицией автора пришлось задуматься. Мне она показалась двойственной. Опять возникли два разных лика.

С одной стороны, перед нами человек ищущий, размышляющий о «подлинной действительности», о необходимости удерживать себя в ней и о связанной с этим «миссии журналистики». Обратимся к аргументации этого тезиса.

Никитинский, к слову сказать, избегает пафосности. Он не выходит из профессиональной роли сотрудника редакции, отправленного «в командировку», «отчет» о которой и представляет в виде этой книжки. Она родилась по итогам его выступлений, лекций, дискуссий о журналистике, которую,

как он заявляет уже в первой главе, сегодня надо защищать от тех, кто, по его представлениям, пытается злоупотребить ее властью. Казалось бы, какие тут могут быть неясности. Разве что современные выпускники журфаков вряд ли сочтут точку зрения этого «старомодного дядьки» целесообразной. Большинство из них, по моим наблюдениям, не тяготится сомнениями, авторскими поисками. «Платформа», которая преобразует жизнь в текст, находится для них уже не внутри, а снаружи.

По преподавательской привычке стала искать определение таким образом обозначенной позиции Никитинского, чтобы можно было указать на нее в студенческой аудитории. Гражданственность? В пользу этого вывода говорит и ряд других утверждений. Например, о невозможности состояться в профессии журналиста без критического мышления. Журналистика, подобно боли в организме, сигнализирует, что в обществе что-то не так. Ею опровергаются «ложные послылы сильных мира сего... Если бы власть всегда была правдива, у журналистики не было бы предмета, достаточно было бы просто хроники». Но при этом автор против того, чтобы его книжка рассматривалась как политическое высказывание: политика преходяща, журналистика же «обладает собственной преемственностью, горизонт которой длиннее, чем зигзаги развития исторических стран».

В пятой главе «Апологии журналистики» предлагается авторское определение термина «коммуникация». Последняя понимается как «жизнь высказывания», которое становится таковым, если только несет энергию авторского мотива и принимается аудиторией. Соответственно, журналистика предстает «коммуникативным разумом» общества: она рождается лишь в момент акцепта коммуникации, высказывание при этом играет роль оферты. То есть коммуникация — это живой опыт контакта, запущенный авторским пасом. То, что не оживает в диалоге, обозначается в книге нерабочим термином «информация», которая содержится, к примеру, в железнодорожном расписании. Без энергии непосредственного опыта мертво и событие — оно не становится высказыванием. В этой же логике определяется

тип личности журналиста. Обращение к наблюдениям Ханны Арендт помогает разобраться — речь идет о несистемной, нонконформистской личности.

«Не могу молчать!» в данном контексте воспринимается скорее не как гражданская позиция, а как личностный принцип. Значит, речь идет о либертарианской концепции журналистики? По убеждению автора книги, журналистика либеральна сама по себе, и никакой другой она быть и не может. Все другое, с его точки зрения, это пропаганда, а пропаганда, как симулякр, не обладает энергией высказывания. Точно так же, как и реклама. (Заметим вскользь, что либеральные идеи, как известно, провозглашая в качестве ценности личностные свободы, опираются прежде всего на свободу предпринимательства. Свободный экономический рынок без рекламной — фейковой — индустрии не проживет.)

Так все же определение авторской позиции найдено — личностность? Однако «личность» в ее социологическом понимании — это хоть и автономный, но конструктивный (дискурсивный) элемент общественной системы. Между тем Никитинский демонстрирует последовательность во внутреннем противодействии любого рода сколь-нибудь стабильной системности. Так, роль журналистики он видит в демифологизации массового сознания. (Хотя, думается, вопрос здесь не в мифах как таковых. Миф имманентен культуре, по Лосеву. Массовая культура общества потребления не исключение. Вопрос, как нам видится, заключается в характере мифов, в их происхождении и функции.)

Представленное в книге описание того, как заметные и незаметные события из жизни страны презентовались в публичном пространстве, чаще всего дано с критической точки зрения. Мотивация автора убедительна — он ищет правду: «Сила правды (она же *феномен честности*), по природе идеалистическая, реальна как *мотив*, наблюдаема социологически и прогнозируема во многих социальных (массовых) проявлениях. Она имеет свойства вируса, то есть ею можно заразиться. Однако честность перемешивается и с мотивами иного, чаще всего практического, характера. Поэтому линия разделения на честных, нечестных и не очень честных

проходит не как между “овнами и козлищами”, а по живому: в чем-то и в какой-то момент человек честен, а в чем-то другом и в другой момент он лжет, и эта граница всегда динамическая, она может колебаться вплоть до поступка и даже после него (в плане самооценки)». Очевидно, поэтому, хотя Никитинский и является сотрудником «Новой газеты», он воспринимается как если бы был сам по себе, в качестве автономной персоны.

И тут вдруг мне открылась существенная деталь: быть убедительным в апологии журналистики Никитинского может только сам Никитинский. Пусть все, о чем он здесь пишет, тебе созвучно или, наоборот, вызывает желание протестовать, но, как только ты захочешь передать это другим, высказывания не случится. В терминологии автора, есть риск создать фейковое событие. Все потому, что для высказывания, следуя заданной логике, нужна энергия непосредственного участия, энергия опыта собственного переживания. На этих основаниях убедительна и его защита профессии. Журналист Никитинский определяет «род своей деятельности как *борьбу за правду, которая как таковая никому не нужна*. Она всегда оказывается нужной кому-то для чего-то, но, как только появляется это “для чего?”, оно сразу же отнимает у нее это качество правды. Этот вывод был бы очень горек, если бы не одно но: правда все-таки существует — а без нее и журналистика не могла бы существовать, и я бы не смог вам здесь о ней сообщить вообще ничего».

Поскольку журналистика может отклоняться от своей сути, по его наблюдениям, «довольно далеко», Никитинский вводит понятие «журнализм», который неотделим от свободы и может проявляться в разных форматах медиадеятельности как «меченый атом».

Классику коммуникативистики Маршаллу Маклюэну, на которого в том числе опирается эта книжка, принадлежит известная, гениальная по своей простоте и глубине фраза: «Средство есть сообщение». Обозначенная позиция Никитинского обнаруживает то, что в ней притягательно: она замешана на поиске правды. Такое «средство» облагораживает «сообщение».

На этом можно было бы закончить. Однако в книге есть еще другой Никитинский, знакомство с которым вызывает двойственное чувство.

Дело в том, что автор «Апологии журналистики» не ограничивает свою точку зрения персональным выбором, собственной моральной программой. Журналистика, по его определению, «принадлежит (как свойство человечества) к онтологическому ряду», поскольку имеет дело с фактами «онтологического ряда: рождение, смерть, цены в магазинах, безработица, экономика в более широком и точном смысле слова». В ней происходит «отсылка к таким *очевидностям, которым нельзя (или трудно) придавать значения, отличные от их собственногого*». Здесь, говоря на языке методологии науки, читателя почти незаметно переводят из теории субъекта в теорию объекта (а потом обратно, и так несколько раз по ходу изложения). Почти незаметно — это потому, что манипуляция осуществляется в потоке сознания автора, в контексте его подкупающего своими искренними интонациями речевого высказывания.

Такое местонахождение между двумя стульями проявляет другой лик автора, который почему-то решил, как можно понять из книжки, что тот, кто «тестирует реальность» средствами журналистики, выступает «инструментом правды». Нет, конечно же, «журналистское расследование», «очерк» должны опираться, по его убеждению, на определенный набор процедур и стандартов. Плюс искренний авторский мотив. Этого, судя по выводам книги, достаточно, чтобы журналистика получила право «перенаправлять» своими высказываниями «общественный дискурс».

Удивляет категоричность, с которой Никитинский позволяет себе определять смысл тех или иных событий, тех или иных позиций. Подробно остановлюсь только на одном противопоставлении из тех, что сконструированы автором. Разделяя актуальный информационный поток строго на «журналистику» и «пропаганду», Никитинский не оставил шансов никому, кто работает за пределами «Новой газеты», этого «острова смысла». Глава «Унавоживание “контента”» начинается с сообщения о том, что журнал «Журналистика

и медиарынок» в № 5 за 2016 год опубликовал итоги второго ежегодного конкурса «10 лучших газет России». «Это в самом деле лучшие областные и районные газеты, — отмечает автор, — многих их главных редакторов я знаю лично. Однако успехи этих газет не столько в журналистике, сколько в иных, хотя чаще всего и близких к ней по духу сферах деятельности. Все прошедшие отбор участники конкурса ведут у себя в городах и городках те или иные социальные проекты: от помощи детям и инвалидам до “патриотизма”». Речь, как выясняется, идет о том, что они поддерживают музеи, проводят конкурсы стихов, экспедиции, культпоходы, концерты... «Я ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Это позволяет достойно выживать и даже сохранять в провинции до лучших времен школу журналистского очерка “о людях”, а умеренная критическая повестка, которую эти газеты продолжают поддерживать, не задирая прицел до глав администраций, но критикуя, например, отвратительное качество дорог, создает некоторое пространство для общения между голосующими за и против действующей власти. Но настоящий журнализм давно забыт даже в этих лучших газетах...».

Так получилось, что чтение этой главы совпало с моим приездом на конференцию, которую ежегодно проводит факультет журналистики МГУ, собирая в своих стенах теоретиков и практиков СМИ. На секции, посвященной «районкам» и другим «нелучшим» газетам провинции, было не протолкнуться. На круглом столе главных редакторов, представителей Союза журналистов России и преподавателей вузов обсуждались, говоря научным языком, биографические решения системных проблем. Я смотрела на этих усталых людей, приехавших со всех уголков страны, и, как невольный соучастник — не поняла чего, — испытывала неловкость.

В книге выстроены и другие дуальные оппозиции. Отдельного упоминания заслуживает продвигаемое через все содержание разделение российского населения на «западников» и «славянофилов» («антизападников»). Но это читателю надо посмотреть самому.

Итак, в этой книге для меня оказался притягателен Никитинский-правдоискатель, персона с критическим

мышлением, пытливый, рефлекслирующий журналист. Но я увидела также сноба, эстетствующего «автора-одиночку», который, онтологизируя мир посредством своего творческого эго, вообразил, что находится вне идеологий, вне политики. Два лика слились в одном. Не могла понять, как так может получиться. Ответ пришел, хоть и не сразу. Устами автора «Апологии журналистики» говорит массовое сознание, его образованная, ищущая часть, актуальный срез. По его законам выстроена та самая «платформа», на которой объединяются и препарированные под определенным углом факты, и сюжеты, и острые оценки, и жажда правды. Вся книга написана в стиле хорошего газетного очерка, в котором по законам жанра должны быть герои и антигерои, должна быть фабула и многообещающая концовка. Запускающим механизмом в движении мысли, что для массового сознания, для его тонуса как раз и характерно, служит чувство противоречия. Так и хочется чуть ли не на каждой странице включиться в ткань провокативных высказываний со своим «Нет, позвольте!..». В этом смысле «командировка», в которую сам себя отправил Никитинский, прошла успешно.

Своеобразие, особость позиции Никитинского придают концептуальные теоретические понятия. Не выбиваясь из заданного стиля, они в то же время коррелируются с тем, что предлагает философия науки, теория дискурса, семиотика, социология социальных проблем, коммуникативистика и другие гуманитарные дисциплины. Последние на вузовских журналистских отделениях представлены нередко в виде череды не связанных между собой лекций, семинаров. И случается, что никому нет дела, как эту полифонию мировоззренческих смыслов начинающие авторы сложат воедино. Апология журналистики Никитинского предлагает свою версию их объединения.

Светлана Шайхитдинова,
завкафедрой журналистики КФУ,
доктор философских наук, профессор
Февраль 2017 года, Казань

Интернет-магазин
sotsium.ru
Либерализм и его критики

Книги издательств

«Социум» • ИРИСЭН

«Мысль» • «Дело»

Издательство Института Гайдара

Издательство Высшей школы экономики

Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге

Леонид НИКИТИНСКИЙ

АПОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ

(В ЗАВТРАШНИЙ НОМЕР: О ПРАВДЕ И ЛЖИ)

Подписано в печать 31.08.2017. Формат 84x108/32

Объем 12,6 усл. п. л.

Издательство «Мысль»

тел. (495) 330-51-98

- Боуз Д. Либертарианство: история, принципы, политика. Социум, 2014. 408 с.
- Гумбольдт В. О пределах государственной деятельности. Социум, 2009. 287 с.
- Кревельд М. ван. Американская загадка. ИРИСЭН, Социум, 2016. 549 с.
- Кревельд М. ван. Расцвет и упадок государства. ИРИСЭН, Социум, 2016. 544 с.
- Кубедду Р. Либерализм, тоталитаризм и демократия: политическая философия австрийской школы. Социум, 2014. 406 с.
- Липсет М. Политический человек. Мысль, 2014. 612 с.
- Мизес Л. фон. Всемогущее правительство: тотальное государство и тотальная война. Социум, 2013. 472 с.
- Мизес Л. фон. Либерализм. Социум, 2014. 299 с.
- Мизес Л. фон. Теория и история: Интерпретация социально-экономической эволюции. Социум, 2013. 382 с.
- Нисбет Р. Прогресс: история идеи. ИРИСЭН 2007. 560 с.
- Нозик Р. Анархия, государство и утопия. ИРИСЭН, 2008. 424 с.
- Пеннингтон М. Классический либерализм и будущее социально-экономической политики. Мысль, 2014. 452 с.
- Ротунда Р. Либерализм как слово и символ: борьба за либеральный бренд в США. Социум, 2016. 212 с.
- Сото Э. де. Иной путь: Экономический ответ терроризму. Социум, 2016. 400 с.
- Хайек Ф. Право, законодательство и свобода. ИРИСЭН, Социум, 2016. 648 с.
- Харрисон Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный капитал и конец мультикультурализма. Мысль, 2016. 286 с.
- Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского правительства. ИРИСЭН, Социум, 2016. 500 с.
- Хюльсманн Й.-Г. Последний рыцарь либерализма: жизнь и идеи Людвиг фон Мизеса. Социум, 2013. 893 с.
- Шёк Г. Зависть: теория социального поведения. ИРИСЭН, 2010. 544 с.